

# ДНЕВНИК АЛ. БЛОКА

1911 — 1913

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
П. Н. МЕДВЕДЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ  
1928

ОБЛОЖКА РАБОТЫ  
М. А. КИРНАРСКОГО

Ленинградский Областлит № 44546

Тираж 5000—14 л.

Заказ 1775

Государств. типогр. им. Евг. Соколовой, Ленинград, просп. Красных Командиров, 29

## **О ДНЕВНИКАХ АЛ. БЛОКА**



Дневник, как особый литературно-мемуарный жанр, имеет несколько разновидностей.

Основные жанровые признаки его, в отличие от воспоминаний, сводятся к современности записей описываемых событий, что, в свою очередь, предопределяет хронологическую последовательность этих записей и композиционное членение дневника по годам, месяцам и дням, хотя бы и с перерывами. Специфические же особенности данного дневника обуславливаются как личностью автора его, так и самым характером материала.

В этом отношении на крайних полюсах окажутся, с одной стороны, дневник-хроника вроде журнала братьев Гонкур, которые старались «представить волнуемое человечество в минутной его правдивости» \*, а с другой — дневник-исповедь типа дневников Л. Толстого, который вел свои записи потому, что «по дневнику весьма удобно судить о самом себе» \*\*. В связи с этим, основным материалом записей братьев Гонкур являются картины литературной жизни Франции второй половины прошлого века, а дневников Л. Толстого — наблюдения над самим собой, личность самого автора.

---

\* Предисловие к т. I, стр. 1.

\*\* Дневник молодости Л. Н. Толстого, т. I, стр. 37.

К какому же типу относятся дневники Ал. Блока?

Для ответа на этот вопрос обратимся к выяснению тех задач, которые стимулировали появление этих дневников.

Записи 1911 года Ал. Блок начинает следующим заявлением:

«Писать дневник или, по крайней мере, делать от времени до времени заметки о самом существенном надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время — великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки».

И далее:

«Я много пережил лично и был участником нескольких, быстро сменявших друг друга, эпох русской жизни. Многого никуда не вписано, много драгоценного безвозвратно потеряно» \*.

Эти замечания вполне уясняют существо вопроса.

Автор дневника — современник значительных («великих») событий, обеспокоенный тем, чтобы не было «безвозвратно потеряно» то, чему он являлся свидетелем или соучастником. Свой дневник он мыслит как «заметки о самом существенном», которое, в свою очередь, распределяется для него по двум основным линиям — по линии лично пережитого, субъективно значительного («Я много пережил лично»), и по линии непосредственно наблюдаемого им, ценного с общественно-исторической точки зрения («Быстро сменявшие друг друга эпохи русской жизни»).

На этих общих положениях и покоится дневник Ал. Блока.

В смысле жанровом он носит смешанный характер. В нем личная исповедь сменяется социальной хроникой,

---

\* Запись от 17 октября 1911 года.

интимные признания переплетаются с описаниями исторических событий и размышлениями над ними, быт — с психологией, лиризм — с репортажем. В итоге получился очень разнообразный по содержанию, богатый интонациями и волнующий своим откровенным лиризмом, отнюдь не «небрежный плод» —

Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет.

И может быть только в дневнике Ал. Блок говорит полным и свободным голосом.

Необходимость ведения дневника была осознана Ал. Блоком очень рано. В ранней юности, еще до 1901 года он уже ведет его.

Именно с этого времени по последние месяцы жизни поэта, — правда с большими и частыми перерывами, — тянется нервная и прерывистая нить блоковских записей. Как раз учитывая эти перерывы, можно наметить основные группы дневников Ал. Блока.

Таких групп — четыре.

Первая — дневник до 1901 года, уничтоженный самим поэтом\*.

Вторая — пять тетрадей с середины 1901 года по 7—8 ноября 1902 года, записи которых интимно связаны с кругом переживаний «Стихов о Прекрасной Даме» и личностью Любови Дмитриевны Блок и потому не подлежат пока опубликованию.

Третья группа — пять тетрадей дневника за 1911—1913 годы.

И, наконец, четвертая — четыре тетради записей с 25 мая 1917 года по 3 июля 1921 года.

---

\* Об этом имеется собственноручная запись Блока на внутренней стороне обложки первой тетради его стихотворений.

Случайны ли эти группы? Почему именно таким образом распределяются они по годам? Случайно ли, что именно в эти годы Ал. Блок ведет дневник?

Думается, что элемент случайности здесь минимален. Стоит только обратиться к истории духовной жизни Ал. Блока и сопоставить факты этой истории с отмеченными годами, как получит серьезное обоснование следующая гипотеза: Ал. Блок ведет дневник в годы, отмеченные повышением тонуса его духовной жизни, что, в свою очередь, связано с теми глубокими кризисами и «переоценками всех ценностей», которые периодически переживал поэт.

Так, 1901—1902 годы — эпоха кризиса его раннего мистического романтизма; 1911—1913 гг. — время «духовной диеты», когда Ал. Блок готов заново «учиться у жизни»; наконец, 1917 и последующие годы — круг новых, необычайных переживаний, связанных с революцией.

Не случай, а внутренне-важные события заставляют Ал. Блока вновь обращаться к дневникам.

Две последние группы их и будут теперь опубликованы. В настоящий том вошла первая из них — дневник 1911—1913 гг.

Как было уже указано, в этом дневнике два основных плана — интимно-личный и общественно-исторический, нередко переплетающиеся между собою.

В этом отношении дневник представляет драгоценный материал как для биографа Ал. Блока, так и для историка начала текущего века.

Биограф сумеет не только установить и проверить по этим записям целый ряд фактов, связанных с жизнью и творчеством великого поэта, но, что гораздо важнее, — проникнуть при помощи их в глубинные пласты сокровенных переживаний Ал. Блока, в самые недра его творческой личности.



Внутренняя сосредоточенность, «духовная диета», преодоление вихревой лирической стихии и огромная работа над самим собой, над основами своего мировоззрения, особенно типичны для Ал. Блока этих лет. Недаром он сам говорит:

«Нет, в теперешнем моем состоянии (жесткость, угловатость, взрослость, болезнь) я не умею и не имею права говорить больше, чем о человеческом. Моя тема совсем не «Крест-Роза» — этим я не овладею. Пусть будет — судьба человеческая, неудачника, и, если я сумею «умалиться» перед искусством, может мелькнуть кому-нибудь сквозь мою тему — большее. Т. е.: моя строгость к самому себе и „скромность“ изо всех сил могут помочь пьесе — стать произведением искусства, а произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп» \*.

И это относится не к одной только драме «Роза и Крест». Эти раздумья составляют фон всей духовной жизни Ал. Блока в эти ответственные и большие годы. Многое, чем еще недавно жил Ал. Блок, теперь изжито, завяло, переоценено. Отнюдь не случайно он говорит о «несуществующей школе символизма», ополчается против «эстетического идеализма», от которого «кровь желтеет», осознает себя преодолевшим «астральные моды» и поэта из «Незнакомки» \*\*, а 10 февраля 1913 года записывает в свой дневник:

«Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — я один отвечаю за себя, один —

---

\* Записи от 1 декабря 1912 года.

\*\* Письмо к Н. Н. С. от 9 января 1912 года.

и могу еще быть моложе молодых портов „среднего“ возраста, обремененных потомством и акмеизмом).

Вместе с этой переоценкой устоев мистико-романтического мирозерцания, у Ал. Блока начинают формироваться новые идейные интересы и пробуждается «вкус к реальности». От М. Горького и соц.-демократ. «Звезды» для теперешнего Ал. Блока «запахло настоящим», а 19 марта 1912 года он заносит в свой дневник мысль, которую прежде считал бы по меньшей мере кощунственной:

«Лучше вся жестокость цивилизации, все „безбожие“ „экономической“ культуры, чем ужас призраков — времен ушедших; самый светлый человек может пасть мертвым перед неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас реальности. Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете».

И в другом месте:

«Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше все житейское, простое и сложное, и бескрылое, и дыганское... Назад к душе, не только к „человеку“, но и ко „всему человеку“ с духом, душой и телом, с житейским — трижды так»\*.

А десять лет тому назад тот же Ал. Блок говорил, обращаясь к людям и житейскому:

Идите прочь, я чую серафима,  
Мне чужды здесь земные ваши сны...

Вот бегло показанная, очень малая часть того материала из дневников, которым не приминет воспользоваться чуткий и серьезный биограф поэта и исследователь его творчества.

---

\* Запись от 30 октября 1911 года.

Да и не только они.

Личность Ал. Блока и история его идейных исканий центральна для всего символизма и очень типична для целой группы передовой русской интеллигенции предреволюционной эпохи.

В этом отношении дневник Ал. Блока — ценнейший документ для историка и социолога. Последний не может не заинтересоваться теми богатыми данными, которые позволят ему воссоздать и раскрыть психологию этой среды и ее социальные корни. В частности, он не пройдет мимо той яркой характеристики литературно-общественной среды 10-х годов и в особенности «общественной бюрократии», которая имеется в дневнике.

Пусть эта характеристика неполна и пристрастна, порою — неверна. Пусть вообще многие мысли и высказывания Ал. Блока требуют существенных коррективов. Это неизбежно уже хотя бы потому, что Ал. Блок не историк, не ведающий «ни жалости ни гнева».

Но несомненно, в историю войдут и эти пристрастные, горячие страницы, выстраданные большим и мятущимся человеком, жить которому было, по его собственному признанию, «и страшно и прекрасно».

---

В заключение — несколько слов о принципах редактирования обоих томов дневника Ал. Блока.

Нашим желанием было, конечно, опубликование дневника в полном и неприкосновенном виде. Но то обстоятельство, что многие записи относятся к живущим еще лицам, заставило нас произвести из текста некоторые, правда, не очень значительные изъятия.

В частности, мы были вынуждены опустить все, что касается чисто личных отношений поэта к его супруге,

Л. Д. Блок, оставив, впрочем, то, что представляет существенно-бытовой интерес.

Все эти пропуски отмечены многоточиями.

Затем нам пришлось зашифровать ряд собственных имен. Чтобы не плодить досужих догадок, вместо них везде проставлены не инициалы, а звездочки.

Особенности грамматики Ал. Блока соблюдены в пределах, допускаемых современным правописанием. Круглые скобки принадлежат автору, квадратные — нам.

Примечания, отнюдь не претендующие на роль комментария, сведены в целях экономии места к самым кратким и необходимым справкам фактического порядка. И, наконец, последний вопрос, бывший для нас первым: своевременно ли издание дневника? Не поторопились ли мы с его опубликованием?

Нам думается, что достаточным ответом на этот вопрос является собственное намерение Ал. Блока опубликовать свой дневник еще при жизни. По крайней мере, планируя в 1920—21 гг. новое издание собрания сочинений, сам Ал. Блок в сохранившемся проспекте одно из первых мест отводит дневнику.

Трудно, конечно, сказать, что и в каком виде было бы им опубликовано. Но все же авторская воля несомненна. Нам хотелось бы думать, что настоящим изданием мы ее не нарушаем.

*Павел Медведев.*

20 октября 1927 года.

Ленинград.

# **ДНЕВНИК 1911 ГОДА**



17 октября.

Писать дневник, или, по крайней мере, делать от времени до времени заметки о самом существенном надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время—великое, и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки.

Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконного языка перед самим собой, усталый от нескольких дней (или недель), проведенных в большом напряжении и восторге, но отдохнувший от тяжелого и ненужного последних лет.

Мне скоро 31 год. Я много пережил лично и был участником нескольких, быстро сменивших друг друга, эпох русской жизни. Многого никуда не вписано, много драгоценного безвозвратно потеряно.—

В начале сентября мы воротились: Люба<sup>1</sup>— из Парижа, я—оттуда же, проехав Бельгию и Голландию и поживя в Берлине. Мама поселилась здесь, у них уютно и тихо.

Как из итальянской поездки (1909) вынесено искусство, так и из этой—о жизни—тягостное, дестрое, много несвязного.

Женя<sup>2</sup>, как и летом, непонятен мне, но дорог и любим. В последний раз, когда он приходил, мне было с ним чрезвычайно хорошо.—Мама близка с М[арией] П[авловной]—сны М. П., припадки.

\* \* \* \* \* живет, сцепя зубы, злится и ждет лучшего. Он поселился в непрактической квартире с сильно беременной женой, каждый день на службе, послал рассказ (больница, Врубель?) в «Р[усскую] М[ысль]» (через Ремизова), перевел Т. ди Молину (как я «Праматерь» — много никуда негодного, чего, как и я тогда (NB — Бенуа!), не видит). Стихов не пишет. «Западник». Мы еще не видались, как следует.

Городецкий <sup>3</sup> — затихший, милый. Его статья обо мне, несказанно тронувшая (Люба приносит ее, когда я лежу в кровати утром в смертельном ужасе и больной от «пьянства» накануне). Его комедия — свидания с Савиной, аудиенция у чиновника Теляковского. Его жена поет. Никитин (сейчас он в Воронеже открывает памятник). — Все только факты, почти голые, осветится понемногу потом, если писать почаще.

К[люев] в — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изнуренный приставаемым \* \* \*, пьяными наглыми московскими мордами «народа» (в Шахматове — было, по обыкновению, под конец невыносимо — лучше забыть, забыть), спутанный — я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова <sup>4</sup> — темномордое. Входит — без лица, без голоса — не то старик, не то средних лет (а ему 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбит с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит. Обед. Муж Тани <sup>5</sup> пришел пьяный, тихо колотит ее за дверь, она ревет, девочка в жару (жаба) бежит в комнаты, Люба тащит ее на руках назад, мы выбегаем унять мужа, уже уходящего по лестнице. Минута — и входит \* \* \* — полусумасшедший, между бровями что-то делается, говорит еще дико. Их перебрасыванье словами с К[люевы]м («господин, ищущий власти», — а не и му щ и й вла ст ь — цар всегда на языке, готов»). Только в следующий раз К — один, часы нудно, я измучен — и вдруг бесконечный отдых,



его нежность, его «благословение», рассказы о том, что меня поют в О[лонецкой] г[убернии], и как (понимаю я) из «Нечаянной радости» те, благославляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в «Н. Р.»), а они позволили мне: говори.—И так ясно и просто в первый раз в жизни — что такое жизнь Л. Д. Семенова и даже—А. М. Добролюбова <sup>6</sup>. Первый—Ряз. губ., 15 верст от имения родных, в семье, крест. работы, никто не спросит ни о чем и не дразнит (хлысты, но он—не). «Есть люди», которые должны избрать этот «древний путь»—«иначе не могут». Но это—не лучшее, деньги, жите—ничего, лучше оставаться в мире, больше «влияния» (если станешь в мире «таким»). «И одежду вашу люблю и голос ваш люблю».—Тут многое не записано, запечатовано, я был все-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: «когда вспомните обо мне (не внешне),—значит я о вас думаю».

\* \* \* вчера был второй раз—уже без «2001 года»—всегда большой (огромный?). Об Александре II. То, что не надо записывать—очень мне непонятное и чего я все равно не забуду.

\* \* \* — тяжелый разговор по поводу рисунка Гарри <sup>7</sup>, письма (мое и ее), ее тяжесть, многое о ней и ее семье следовало бы записать.

Ф. Смородский <sup>8</sup>—письмо и пришел. Бесконечно несчастный, ни с чем в жизни не связан, нищий, больной. Холодное пальтишко, гордые усы. Живи, милый, живи, пусть пронесет тебя бог, как мимо всего в жизни, так мимо этого мальчика, наименее болезненно, а там—все простится. Чи <sup>4</sup>тый, несмотря на все.

Слухов, сплетен, о людях, которых сам не видал еще, не пишу—устал сегодня,

Литераторы. \* \* опротивел, прости меня, господи. Завален делом (редакция русских классиков, французский институт в Спб., психо-неврологич. (универс.), ничего не понимает, высокомерные в тысячный раз анекдоты о Брандесе, «свои лошади»), хочется породниться с бо-мондом, супруга школит, он загребает тысячи, смесь гусарского корнета с Макс. Ковалевским (!).

Вячеслав Иванов \*. Если хочешь сохранить его, — окончательно подальше от него. Простриг бороду, и на подбородке невыразимо ужасная линия глубоко врезалась. Внутри воеет Гете, «классицизм» (будь, будь спокойнее). Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает — большое, но меньше, чем должно (могло бы) быть. Дочь — худая, бледна измучена, печальна.

Происходит окончательное разложение литерат. среды в Петербурге. Уже смердит.

Будущее покажет, что о ком еще записать. Стадия поэмы (семидесятые годы, о двух полюсах в искусстве, семейное, Чацкий, Демон <sup>9</sup>).

Надо, побеждая восторги (частые) и усталость (редкую — я здоров), писать задумчиво. Это написать (что я задумал) — надо. «Помогай бог». Но — минимум литературных дружб — там отравись и заболешь.

Боря <sup>10</sup> молчание (?) «Мусагета» <sup>11</sup>, Боря с женой на даче, моя смутность, «хроники М[усагета]».

... Варьетэ, акробатка — кровь гуляет. Много еще женщин, вина, Петербург — самый страшный, зовущий и молодящий кровь — из европ. городов.

---

\* В 1-ом заседании р[елигиозно] - ф[илософского] о[бщества] будет говорить речь о национализме. (В. Мережковские, П. С. Соловьева, А. Столыпин, Меньшиков, Розанов — много бы написал, да мерзко, дрянно, забудется).  
(Сноска А. А. Блока),

Сегодня: без людей. Солнце, мороз, красиво, гулял днем, вечером изныл от усталости—вино и утра без сна сказались'...

Сейчас уже ночь, мы собираемся спать, а я только сейчас случайно вспомнил, что такое—17 октября. Днем я вспомнил еще о *sainte catastrophe*<sup>12</sup>. Но 17 октября есть тот день (и я это помнил), когда мы встретились на улице и были в Казанском соборе.

*19 октября.*

Злиться я не имею права, потому что слышал кое-что от К[люева], потому что обеспечен деньгами и могу не льстить, и потому, что сам несколько не лучше тех, о ком пишу.

И однако, читая чиновную и антикрамольную книгу Татищева об Ал[ексandre] II, смотря на погоду из окна, вспоминая «аполлоновские» впечатления (суббота) и вчерашнюю маршировку лицеистов в Петропавловский собор,— все это вместе—думаю:

Кроме «бюрократии», «как таковой», есть и «бюрократия общественная». Вот например,—вчерашнее открытие «Франц. института»: присутствуют: Аничков, Ив.-Страник, Философов, Милуков, М. Ковалевский, Кассо. Телеграмма Коковцова. Все—одна бурда. М. Ковалевский, катающийся по кабакам с дядюшкой моим, директором Горного департамента. \* \* «представитель от искусства», никогда не воспринявший ни одного художественного образа, слабый, пьяный, гусар по природе, напшигованный озлобленной, стареющей и больной \* \*. Философов, которого тошнит от презрения: он открывает институт, он сочувствует ученику гимназии, застрелившемуся от несправедливости учителя, он ходит по деревне в гетрах и с Пулькой на аркане, он делает выговоры Волконскому, который,

по крайней мере, хоть что-нибудь любит искренно. Милюков, который только что лез вперед со свечкой на панихиде по Столыпину (в день открытия Думы). Кому и чему здесь верить? Разве «прекрасному французскому языку» Кассо? Все—круговая порука, одна путаница, в которой сам черт ногу сломит. И потому—у кого смеет повернуться язык, чтобы сказать хулу на Гесю<sup>13</sup>, или подобную ей несчастную жидовку, которая, сидя в грязной комнате на чердаке, смотря на погоду из окна, живя с грязным жидом, идет на набережную Екатерининского канала бросать бомбу в блестящего, отчаявшегося, изнуренного царствованием, большого и страстного человека?

На островах—сумерки, розовый дым облаков, слякоть, и в глине зеленые листья смешались с глиной. Ветер омывает щеки. На Большом пр. бредет Столпнер — поговорили—о буд[ущих] р[елиг.]—ф[илос.] собр[аниях], об «Алекса́ндре» Мережковского.

Вечером, вместо того, чтобы итти «делать карьеру» у Дризена<sup>14</sup> (первая среда), я пошел к Ивановым. Именины Клипы, гостей человек 30.

Вера<sup>15</sup> очень милая, она влюблена. Говорил с Л[юшей]. Отец—важный, купеческий голос, педагогическая тяжесть, не знаю—добрый ли. Мать не разобрал, но со стороны той группы, где она сидела, в «молодую компанию» смотрели злые глаза.—Женя прекрасен, без ума, ест и пьет и из пушки стреляет, милый.

Александр Павлович, усталый, жалуется слегка на Вячеслава Иванова.

\* \* с молодой женой, которая не то стесняется, не то гордится, а скорее—то и другое вместе.

С М[арией] П[авловной] перекидывался изредка взглядами. Прощался вечером у двери, она изнемогала от усталости. «Думаю о смерти, и кажется, что не шуточная

болезнь». Лица нет — бледное, на нем — огромные ее глаза. Я сказал какое-то пошлое общее место (в ответ на «смерть») и хотел прибавить, что глаза молодые. Вдруг — смотрю, в глазах какое-то сверхъестественное мучение, и они покрываются туманом. — Скоро она отошла от двери, чтобы не надуло.

Мария Петровна смотрит из-под своих седых волос спокойными, внимательными и строгими очками. В Клипе сквозит старуха, когда она озабочена по хозяйству — бедная.

Душно, жарко, много боли и вражды вокруг — а очарование их всех бесконечно.

Да, Женя может быть хорошим семьянином, ему, по моему слабому и неотчетливому и отвлеченному разумению, можно жениться. Он из семейной жизни может создать прекрасное...

20 октября.

Говорить надо не слишком много и, главное, творчески. Когда дело идет о «чтении для работы» (т. е. попадает много добросовестного и бездарного), то надо напрягать силы, чтобы вырвать у беззубого автора членораздельное слово, которое найдется у всякого, от избытка ли его куриных чувств, или от того, что сам материал его говорит за себя. Ко всякому автору надо относиться внимательно, — и тогда можно выудить жемчужину из моря его слов (даже написанных на «междуведомственном» языке, или на языке Овсянниковых-Куликовских — последнее горше, хуже). Недостаток же современной талантливости, как много раз говорилось, короткость, отсутствие *longue haleine* (говорил ... Маковский); полусознал, полупочувствовал, пробарабанил — и с плеч долой. При этом надо читать «для работы» с мыслью и планом, ранее готовыми, и все время проверять себя — не рушатся ли планы

под тяжестью накапливаемых фактов и обобщений. Если нет, — хвала им, и пусть воплощаются и принимают каменные формы.

---

Перед вечером пришел Пяст<sup>16</sup>. Третьего дня у него родился второй сын Виктор (в клинике Отта).

Долго говорил я ему о создавшемся положении с Вячеславом Ивановым и с Аничковым. Потом мы втроем с Л[юбой] пошли к Городецким. Люба в новой лиловой бархатной шубке.

Безалаберный и милый вечер... \* \*. Е. Ю.<sup>17</sup> читает свои стихи и танцует. Толстые — Софья Исааковна<sup>18</sup> похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота. Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже.

\* \* тоже «старается исправиться» — трогательное и чистое чувство заставляет этих милых женщин вступить в новую эру.

Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой.

Пришли Messieurs les professeurs Бойе и Réo<sup>19</sup> с вырезными жилетами, любезные, но никто не сумел с ними обратиться по-европейски — и «западники», как «славянофилы»!

Городецкий рассказывает, как смешно и трагично открывали памятник Никитину в Воронеже (он только что оттуда), приехал заплаканный, всю ночь плакал в вагоне.

Потом — \* \* говорил речи французам (уже ушедшим) и ответные за французов. Было весело и просто. С молодыми добреешь.

21 октября.

Тихий день. Встали поздно. Обедал и вечером был у мамы, куда пришел Женя. Письмо от Бори, корректура из «Аполлона» — стихов.

22 октября.

Днем читал воспоминания Л. Ф. Пантелеева. Вечер...

23 октября.

Почитывал Туна<sup>20</sup>. Вечером заходил к маме — редакционное собрание «Тропинки» — деловое, славное. Какие-то передовые дамы-писательницы и приват-доценты. Из знакомых (кроме П. С.<sup>21</sup> и Монасенной) — Женя, Ростовцев, Беляевский, Евг. Георгиевна<sup>22</sup>, Ольга Форш (с фальшивой сказкой), В. В. Успенский — сладкий. Я вставлял неважные замечания.

Все эти вечера читаю «Александра I» (Мережковского). Писатель, который никого никогда не любил по-человечески, — а волнует. Брезгливый, рассудочный, недобрый, подозрительный даже к историческим лицам, сам себя повторяет, а тревожит. Скучает безумно, так же, как и его Александр I в кабинете, — а красота местами неслыханная. Вкус утончился до последней степени: то позволяет себе явную безвкусицу, дурную аллегорию, то выбирает до беспощадности, оставляя себе на любованье от женщины — вздох, от декабриста — эполет, от Александра — ямочку на подбородке — и довольно. Много сырого материала, местами не отличается от статей и фельетонов.

25 октября.

Вчера цынга моя разболелась мучительно. Был шторм и дождь, после обеда мы с Любой стали играть в шашки

на большом диване. Приходит А. В. Гиппиус<sup>23</sup>, приехавший из Ковны. Много болтовни, милого, о семье (так ли тяжело), нежного, воспоминательного, тонкого. Матовые разговоры. Тяжелое о молодости Добролюбова<sup>24</sup>, бюрократические анекдоты. — Ночью в окна и на мокрые крыши светила луна — холодная и ветряная. Около трех часов ночи он ушел. Все одно — холодная луна и Александр I: все это так, так — до возвращения 80-го и 905-го года. Медленно идет жизнь.

Письма от Брюсова и Панченко<sup>25</sup> (вчера).

Сегодня я весь день дома. Люба днем ездила к бедным детям на Вас. О., свезла 25 руб. и тряпок. Вечером пошла к своим родным. Я читаю трогательную записку Савенковой<sup>26</sup> и интересные воспоминания князя Мещерского. Десны болят, зубы шатаются.

Разумеется, в конце такого дня — мучительный вихрь мыслей, сомнений во всем и в себе, в своих силах, наплывающие образы из невоплощающейся поэмы. Если бы уметь помолиться о форме. Там опять светит проклятая луна; и, только откроешь форточку, ветер врывается.

Отчаянья пока нет. Только бы сегодня спать получше, а сейчас — забыть все (и мнительность), чтобы стало тихо...

Люба вернулась. Ужасная луна — под ней мир становится голым уродливым трупом.

*26 октября.*

Сегодня зубам легче. Весь солнечный день провел в Александровском рынке, накупил книг на 20 руб. Веселый город, пьяный извозчик, все бы кончилось обычным восторгом, если бы после обеда не пришли — сначала Женя, потом Пяст, потом А. П. Иванов.



С Пястом о «политике» — о «славянофильстве и западничестве» — какой-то постоянно возникающий и не вытанцовывающийся разговор, от которого... Люба хочет спать, говорит, что он похож на игру в шахматы. — Мама беспокоится обо мне, спрашивает по телефону.

Испуг Любы, когда вошел неожиданно А-др П[авлович] (дверь была не закрыта). С ним — о Вяч. Иванове и близком к искусству. Всегда — пока — во всех наших разговорах есть общее, они сходны.

Третий час (опять!), и я записываю все торопливо — пора спать... Прилагаемый фельетон<sup>27</sup> (получ. сегодня. №) и слова Бори о — «грядущей борьбе рас» в письме на днях.

Я опять не пошел к Дризену.

29 октября.

Вчера и третьего дня — дни рассеяния собственных сил (единственный настоящий вред пьянства). После приключений третьего дня я расслаблен, гуляю (Новая деревня — портрет цыганского семейства — покосившийся деревянный домик, бюро похоронных процессий), ванна. Обедает А. В. Гиппиус. Вечером — с ним и с Пястом в цирке (факиры), оттуда возвращаемся втроем пить чай сюда.

Сегодня газеты полны волнения. Рост китайской революции — там приходит конец не только манчжурской династии, но и абсолютизму («Два изречения сбылись — пролог разыгран, и драма царская растет» — Макбет).

Коковцов мягко стелет — его объяснения о Финляндии (необходимость воплотить столыпинский законопроект об увеличении денежной военной повинности в Финляндии, заменяющей «еще опасную пока для России» натуральную).

Чуковский вопит о «народе и интеллигенции». В Москве Матисс, «сопровожаемый символистами», самодовольно

и развязно одобряет русскую иконопись — «французик из Бордо».

— Внезапно, как всегда у «Мусажета», получил «Ночные часы» (5 экземпляров) и 3 листа корректуры II тома.

Обедали у мамы.

Вечером «Академия» <sup>28</sup>— доклад Пяста, его старая статья о «каноне», многоглаголанье Вячеслава Иванова усыпило меня вовсе. Вечером пьем чай в Квисисане—Пяст, я и \* \* (вечный).

Письмо \* \* <sup>29</sup> о красоте.

*30 октября.*

День дождливый, гимназисты от Панченки зовут на концерт. Пишу большое письмо Боре. После обеда пришла Александра Павловна Верховская <sup>30</sup>, которая послезавтра едет в Тифлис. Очаровательная, старинная, нежная красота, женственность, материнство, тонкий, легкий ум в каждом слове, и нежное лукавство.

Пишу Боре и думаю: мы ругали «психологию» оттого, что переживали «бесхарактерную» эпоху, как сказал вчера в Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна в с я душа, все житейское, весь человек. Нельзя любить цыганские сны, ими можно только сгорать. Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское.

Возвратимся к психологии.

Вечером напали страхи. Ночью проснулся, пишу, слава богу, тихо, умиротворюсь, помолюсь. Мама говорит, что уже постоянно молится громко, и что нет никакого спасения кроме молитвы.

Назад к душе, не только к «человеку», но и ко «всему человеку» — с духом, душой и телом, с житейским — трижды так.

31 октября.

Сегодня был в банке — день ясный, но душу портишь одним прикосновением к деньгам. Я думаю, все-таки, что я имею некоторое право на эти деньги и даже имею право подумать об умножении их, потому что живу напряженно, забываю не все обязанности. Будущее покажет.

К обеду пришла несчастная, бесплодная Адда Корвин<sup>31</sup>, а вечером, — воплощающаяся и улучшающаяся с каждым разом \* \*. Гарри в Мюнхене, здесь — борьба с отцом, которого она считает дурным человеком. Он ничего не понимает, ей некогда его понимать, все так естественно. Но все ее, уже подлинное, мучение, вся обстановка (неокончившаяся семья и неначавшаяся жизнь с Гарри) — все углубляет, расширяет и освящает любовь. Это видно по глазам, по манерам, по большей чуткости и большей ясности, по словам. Когда-нибудь она вспомнит с благодарностью (за борьбу и непонимание, под которыми прячется нежность), теперь естественно ненавидит родительскую обстановку...

2 ноября.

После вчерашнего вечера (днем 1-го был у мамы) спал без просыпу и весь день хотел спать. Утром был Городецкий, вечером Люба в концерте (Кусевидского), а я в кинематографе на Среднем проспекте («Четыре чорта» — переделка Банга). Хорошее письмо от Бори. Опять я теряю рабочее возбуждение и напряженность, безделье опять одолевает.

3 ноября.

В «Утре России» под заглавием «В поисках смерти» нелепое известие о Сереже Соловьеве<sup>32</sup>. — Книжки и ответ Кожебаткина<sup>33</sup>. Днем — няня Соня<sup>34</sup> и разговоры о ее

муже и ректорском доме. Чтение всякой дряни об Александре II и III. Вечером — \* \* с его озлобленным оптимизмом. Бугылка рислингу.

4 ноября.

«Ночные часы» — 95 экземпляров. — Небо — утром ливень и мрак — к 3-м часам — разорванные тучи и красные перья, ветер поднимается, звезды видны. Я еду на именины к Фидлеру <sup>35</sup>.

Уютная квартира, вся увешанная портретами — одна комната, карриатурами — другая. Я один из первых приезжаю. Народ прибывает непрерывно, и к полуночи уже некуда яблоку упасть.

---

Ясинский, Андреев (Леонид), Венгеров, Дымов, Измайлов, Копельман, Гржебин, В. Г. Чирикова, Маныч, Эльснер (киевский издатель), \* \* (прилипчивый), Лазаревский (Б), Ремизов, Б. С. Мосолов, два Василевских, Д. С. Здобнов — все эти и многие другие оставили след на моей душе. Но она была великолепно защищена и спокойно, действительно напряжена; все, что было глубоких влияний, я встречал щитом души.

---

Тихая ночь, я вернулся прямо домой, уйдя незаметно.

---

6 ноября. Ночь.

Опять два безумных дня. 5-го вечером — после ужасного разговора с мамой \* (утром пришел Городецкий, принес три ветки мимозы от себя. Днем была Ангелина <sup>36</sup>—

---

\* Вечером 5-го, пока я был у мамы (а Люба у своей), приходили Женя, Пяст, В. Веригина... (Сноска А. А. Блока).

она думает о высших курсах, родные уже распадаются, уже откровенно злобствуют на ее «безжизненность» и пр.; мать («будет против курсов») сразу напилась в Тироле на Офицерской...

Сегодня утром (т. е. уже в 1-м часу!) приходит Пяст. Мы с ним гуляли в Ботаническом саду (мимо казарм, воспоминания), он провел ночь в Варьетэ...

Вечером он приходит опять и мы говорим о стихах (а не о политике, как всегда в последнее время). «Ограда», «автобиография». Сегодня он дал мне поэму в прозе, но вырвал оттуда известные мне, подлежащие переделке места... Если писать статью, то уже не об одной З. Н. Гишнус, но в связи с ним: «Запечатанная поэзия» (Эдгар По — подземное течение в России).

Нас застал за чтением (Люба в «Мещанине в дворянстве») \* \*. Он прочел за чаем вслух последний рассказ Садовского (о Петре, очень сильно).

«Пушкин, Достоевский, Мережковской — закапывают Петра. Ключевский и Садовской, первый еще бессознательно, его откапывают — лицо, а не демона. Но и не совсем так, ибо Петр — и жертва и демон (как Чацкий). Пьяный Петр, заставляя заспанного восьмилетнего сына рубить голову стрелочку зазубренным топором, действует и как стоящая выше окружающего, или владеющая демони́ческая сила, и как жертвенное лицо, принесшее „службу“ (он еще Москва, «окно», в которое он высунулся, — там воздух отравленный, воздух белых ночей, — а не в нем самом отравка) свою, всего себя — для будущей русской цивилизации».

В кавычках — мысли \* \*, мной воспринятые, взаимное согласие.

Об Александре I и II. — Но много говорили о водке, чуть не уехали в кабак, меня что-то удержало... Отдохнуть.

Раздаю и рассылаю «Ночные часы». В первый день у Митюрникова <sup>37</sup> раскупили все, что было — 18 экземпляров.

От Бори — нервные письма, Нина Ивановна Петровская «умирает» <sup>38</sup>. Сережа — что с ним. Сестра Бориной жены (Наталья Александровна) родила девочку.

Боря негодует на эксплуатацию его труда, на наших «жуликов» (\* \*), которые его выперли из всех журналов... Кстати — на днях в газетах — уже! — «У всех газетчиков» — «Новая Россия» — 5 коп., первый рассказ — Георгия Чулкова «Акробатка». Скоро!

7 ноября.

Печальный день и прекрасный вечер. — Днем проходил по Летнему саду, где вычищены статуи, белеют под морозящим дождем.

После обеда мы с Любой поехали к Ремизову — он сидит больной, а С[ерафима] П[авловна] <sup>39</sup> в «Хованщине». Вдруг является — Гржебин, вслед за ним Бенуа, Толстой и Л. Андреев и весь Шиповник, Копельман и дамы. До 12-ти сидели, Андреев болтал — он внешний человек, занят собой, своей растительно-благополучной жизнью и своими кошмарами, ни с чем не связан, а теперь — приглядывается к людям, но неудачно и все из своей бархатной куртки. Он неглубок и неумен, но не плох.

У А. М. [Ремизова], который показывал и аттестовал все свое зверье, иконы, книги, болят живот и рука. Он тих и нежен.

В 1-м часу мы пришли с Любой к Вячеславу [Иванову]. Там уже — собрание большое... \* \* волнуется. Кузьмин (читал хорошие стихи, вечером пел из «Хованщины» с Каратыгиным — хороший какой-то стал, прозрачный, кристальный), Кузьмины-Караваевы (Е. Ю. <sup>40</sup> читала стихи,

черноморское побережье, свой «Понт»), Чапыгин, А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи, чем дальше, тем лучше), Сюннерберг, m-eur Réau, Аничков. Вячеслав читал замечательную сказку «Солнце в перстне».

В кабинете висит открытый теперь портрет Лидии Дмитриевны <sup>41</sup> работы М. В. Сабашниковой — не по-женски прекрасно.

Все было красиво, хорошо, гармонично.

— Ночью получил (вернувшись) первый том (посмертный) Толстого...

8 ноября.

Днем встал поздно (Люба спала), пошел к маме (там Аля Маз[урова]) <sup>42</sup>. У мамы «душа не принимает» еды.

Вечером — опять отчаянное вдохновение — восторг, граничащий с измученностью. Поехал в Озерки. «Хорошо усталый» (любино выражение об А. В. Гишпиусе), еврей в вагоне. Возвращаюсь, а Женя идет с лестницы (он завтра «тайно» видится с братом Петром, а вечером читает доклад в заседании совета р[елиг.]-ф[илос.] о[бщества]). Вернулись, он говорил о «Ночных часах» (главным образом, «Песнь ада»). Рассказывал о дикириях и трикириях: в правой руке — трикирий — спокойно горят три свечи, в левой — дикирий — раздвоение, беспокойство (так и образа на иконостасе). По двум сторонам епископа — диаконы; когда он поворачивается лицом (благословлять народ), то и дьяконы меняют места (за спиной его переходят).

После схождения Христа на землю — в руке епископа остается — в правой дикирий, в левой — крест (спокойствие трикирия пропадает, остаются только два лица — божеское и человеческое, или Отец и Сын).

Воздух эти дни, как вода—безмолвное дно морское—город. Что-то творится в нем. Безумие, безумие и восторг. Но я сегодня спокойно лягу спать. Сберегу...

---

Два письма от \*\*\*, в одном послышалась мне неприятная нотка, никому не скажу, в чем дело. Книга от Ясинского—«Под плащом Сатаны»—с трогательной надписью.

---

От \*\* —благодарит за «Ночные часы»—записка раздужена, промочена духами, так что чернила размазаны.

Духи напоминают мою теперешнюю «La vierge folle» (Gabilla).

9 ноября.

«Встал рано утром».—На-днях я видел сон: собрание людей, комната, мне дадут большое красивое покрывало, и я, крылатый демон, начинаю вычерчивать круги по полу, учась летать. В груди восторг, я останавливаюсь от вырезываний по полу (движения скэтинг'а), Женя спрашивает, куда мы полетим, и я, «простря руку», показываю в окно: туда. Это не смешно.

10 ноября.

Вчера днем—корректурa, короткий и тревожный сон. Вечером я собираюсь к Дризену—приходит Ганс Гюнтер<sup>43</sup>—с похвалами «Ночным часам», со своими какими-то нe-русскими понятиями. Несколько слов, выражений лица—и меня начинает бить злoба. Никогда не испытал ничего подобного. Большого ужаса, чем в этом лице, я, кажется, не видал. Я его почти выгнал, трясусь от не знаю ка-кого отвращения и брезгливости. Может быть, это грех.

Но ночам теперь нет конца—октябрь—весь мир наш полон ночью...

---



У Дризена—читает Волконский. Что-то сухое и выжатое в его нарочитой сочности, и нарочито дворянский и чистый язык его—просто хороший средний язык, мало краски, жизни. О мировоззрении таких аристократов, которое иметь очень ответственно. Не любя демократии, ненавидя всякий американизм, ведь они не поймут и той тайной, запрытанной глубоко культуры, которая есть в По, Гишпиус, Пясте, Пушкине...

Это «американское» проявится, когда на нас пойдет великий Китай...

Народу у Дризена мало—Бенуа, А. П. Иванов, Дарский, А. Каменский (!?), Мусина, Аничковы, актеры и актрисы, певицы какие-то (Пресняков), Андреевский (вечный здесь)...

Ночь глухая, около 12-ти я вышел. Ресторан и вино. Против меня жрет \* \*. Лихач. Варьетэ. Акробатка выходит, я умоляю ее ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Тот ли лихач—первый или уже второй,—не знаю, ни разу не видал лица, все голоса из ночи. Она закрывает рот рукой—всю ночь. Я рву ее кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках—какая-то сила и тайна. Часы с нею—мучительно, бесплодно. Я отвожу ее назад. Что-то священное, точно дочь, ребенок. Она скрывается в переулке—известном и неизвестном, глухая ночь, я расплачиваюсь с лихачом. Холодно, резко, все рукава Невы полные, всюду ночь, как в 6 часов вечера, так в 6 часов утра, когда я возвращаюсь домой.

— Седодняшний день пропащий, разумеется. Прогулка, ванна, в груди что-то болит, стонать хочется оттого, что эта вечная ночь хранит и удесятеряет одно и то же чувство—до безумия. Почти хочется плакать.

Мама обедает, хороший разговор с ней после обеда. Провожая ее до трамвая. Опять ночь—искры трамвая. Вечер, утро—это концы и начала. В нашем ноябре нет

начал и концов—все одно растущее, мятежное, пронизывающее, как иглами, любовью, безумием, стонами восторгом.

Эту женщину я, вероятно, не увижу больше, и не надо видеть, ни мне, ни ей неприятно, она «обесплочивает» мои страсти, бросает их в небеса своими саксонскими глазами. Она совсем не такова, какой я ее видел в первый раз.

Жить на свете и страшно и прекрасно. Если бы сегодня—спокойно уснуть.

---

Неведомо от чего отдыхая, в тебе поет едва слышно кровь, как розовые струи большой реки перед восходом солнца. Я вижу, как переливается кровь мерно, спокойно и весело под кожей твоих щек и в упругих мускулах твоих обнаженных рук. И во мне кровь молодеет ответно, так что наши пальцы тянутся друг к другу и с неизъяснимой нежностью сплетаются помимо нашей воли. Им трудно еще встретиться, потому что мне кажется, что ты сидишь на высокой лестнице, прислоненной к белой стене дома, и у тебя наверху уже светло, а я внизу у самых нижних ступеней, где еще туманно и темно. Скоро ветер рук моих, обжигаясь о тебя и становясь горячим, снимает тебя сверху, и наши губы уже могут встретиться, потому что ты наравне со мной. Тогда в ушах моих начинается свист и звон виол, а глаза мои, погруженные в твои веселые открытые широко глаза, видят тебя уже внизу. Я становлюсь огромным, а ты совсем маленькой; я, как большая туча, легко окружаю тебя, нырнувшую в тучу и восторженно кричащую птицу.

11 ноября.

— Сегодня—денек. Напрасно прождал все утро Л. Андреева, который по телефону извинился (через жену), что чем-то (глупым) задержан. Гулял. Копоть. Вчера вечером не пошел ни слушать рассказ Ясинского, ни к матери жены \* \*, где собралось «Гумилевско-Городецкое общество» <sup>44</sup>, а сегодня вечером не пошел ни к Пол[иксене] Серг[еевне] на доклад о «сказке» ни в поэтическую академию, где читает Зелинский и куда всем сказал, что пойду \*. Спал после обеда, а потом—куда же я пошел?

Длинное письмо от Бори.

13 ноября.

11-го в Академии (куда я не пошел) опять Пяст говорил обо мне («Ночные часы» через головы «Нечаянной радости» и «Снежной маски» протягивают руку «Стихам о Прекрасной даме»). Два дня рассылаю книги, отвечаю на письма, держу корректуры, «ликвидирую» «дела», которые возникли от трех вечеров, проведенных среди десятков и сотен литераторов. Мечтаю писать свое и читать книги.

«Трагедия творчества»—Бори Б[угаева].

Вчера днем—ужас толпы на Невском.

Вчера вечером—\* \*—хорошие разговоры до 3-х часов ночи. Он наложил на себя эпитимию (не курит). Не возвращается к \* \*. Дети?

Сегодня Люба—у \* \*, Аничковых, мамы, тети <sup>45</sup> и своих—отчасти помогает мне.

Я обедал у мамы, а весь вечер вчера гулял по улицам. А без нас опять были Ремизовы!

---

\* В. Зелинский не читал, Вячеслава Иванова не было.

(Списка Ал. Блока).

В: всегда одно из двух—люди (масса), или своя жизнь, творческая. Мечтаю о ней.

Гениальнейшее, что читал — Толстой — «Алеша Горшок».

Завтра надо записать главное, что виделось сегодня вечером и ночью, вьется кругом уже с неделю.

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,  
Пусть бой и неравен,—  
борьба безнадежна!

14 ноября.

Записываю днем то, что было вечером и ночью,— следовательно, иначе.

Выхожу из трамвая (пить на Царскосельском вокзале). У двери сидят—женщина, прячущая лицо в скунсовый воротник, два пожилых человека неизвестного сословия. Стоя у двери, слышу хохот, начинаю различать: «ишь... какой... верно... артис...» Зеленея от злости, оборачиваюсь и встречаю два наглых, пристальных и весело хохочущих взгляда. Пробормотав—«пьяны вы, что ли», выхожу, слышу за собой тот же беззаботный хохот. Пьянство, как отрезано, я возвращаюсь домой, по старой памяти перекрестясь на Введенскую церковь.

Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю—отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ааа—ты вот какой?.. Зачем ты напряжен, думаешь, делаешь, строишь, зачем?»

Такова вся толпа на Невском. Такова (совсем про себя) одна искорка во взгляде \*\*. Таков Гюнтер. Такова морда Анатолия Каменского.—Старики в трамвае были похожи и на Суворина, и на Меньшикова, и на Розанова. Таково все «Новое Время». Таковы—«хитровцы», «апраксинцы», Сенная площадь.

Знание об этом, сторожкое и «все равно не помо- жешь» — есть в глазах А. М. Ремизова. Он это испытал, ему хочу жаловаться.

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,  
Хоть бой и неравен —  
борьба безнадежна!  
Над вами светила молчат в вышине,  
Под вами могилы, молчат и оне.  
Пусть в горном Олимпе блаженствуют боги!  
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;  
Тревоги и труд лишь для смертных сердец...  
Для них нет победы, для них есть конец.  
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,  
Как бой ни тяжел, ни упорна борьба!  
Над вами безмолвные звездные круги,  
Под вами немые, глухие гроба.  
Пуускай олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец:  
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец.

Это стихотворение Тютчева вспоминал еще в про- шлом году Женя, от него я его узнал.

Мы, позевывая, говорим о «желтой опасности». Аничков раз добродушно сказал мне (этим летом): «Вы узко мыслите. Цусима — неважное событие. С Японией воевала не Россия, а Европа».

Так думают все офицеры, кончая первым офицером, который выпивает беззаботно со своими конвойцами.

Откуда эти «каракули» и драгоценности на всех гос- подах и барынях Невского проспекта? В каждом каракуле — взятка. В святые времена Александра III говорили: «вот нарядная, вот так фuffyря!» Теперь все нарядные. Глаза — скучные, подбородки выросли, нет увлеченья ни Гостиним двором, ни адюльтером, смазливая рожа любой барыни — есть акция, серия, взятка.

Все подзет, быстро гниют нити швов изнутри («преют»), а снаружи остается еще видимость. Но слегка дернуть, и все каракули расплзутся, и обнаружится грязная, грязная морда измученного, бескровного и изнасилованного тела.

Так и мы: позевываем над желтой опасностью, а Китай уже среди нас.

Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью. Об этом, ни о чем ином, свидетельствуют рожи в трамваях, беззаботный хохот Меньшикова (Иу-да, Иу-да), голое дамское под гниющими швами каракуля на Невском. Остается маленький последний акт: внешний захват Европы. Это произойдет тихо и сладостно, внешним образом. Ловкая куколка—японец положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца, глянет «живыми, черными, любопытными» глазками в оловянные глаза бывшего арийца.

Столыпин незадолго перед смертью вскочил ночью оттого, что ему приснился революционный броненосец, подходящий к Кронштадту. Это им снится еще, а «горшее» не снится.

Вот когда понадобится распечатать все тайные возрождения Нового Света (По) и славянского мира (Пушкин, русская история, польский «мессианизм», Мицкевичев островок в Париже, равенское, разбудить Галлу).  
• Надо найти в арийской культуре взор, который бы смог бестрепетно и спокойно (торжественно) взглянуть в «любопытный, черный и пристальный и голый» взгляд—  
1) старика в трамвае, 2) автора того письма к одной провокаторше, которое однажды читал вслух Сологуб в бывшем Café de France, 3) Меньшикова, продающего нас японцам, 4) Розанова, убеждающего смешаться с сестрами и со зверями, 5) битого Суворина, 6) дамы на Невском, 7) немецко-

российского мужеложда... Всего не исчислишь. Смысл трагедии—безнадежность борьбы; но тут нет отчаяния, вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение.

Сегодня пурпурно-перая зоря.

Что пока—я? Только—видел кое-что в снах и наяву, его другие не видали.

15 ноября.

Переписка с \* \* \*  
Желтый, желтый закат.

16 ноября.

Письма. Подарки. Днем—«ванна», студентик с честными, но пустоватыми глазами, жалующийся на редакторов, со стихами и прозой. Я его выпытываю.

Обед у мамы—с тетей (усталой и несчастливой) и Женей (с ним разговор вечером и с мамой. Женя воинствует)... Об «изгнании» Розанова, о Мережковских и мелком их бесе Философове, о «не только порте», о «не только человеке», о «национализме». Смутное чувство и страшная усталость к вечеру. Возвращение домой ночью, за спиной Сириус пылает всеми цветами, точно быстро взлетающий вверх и метеор.

17 ноября.

Вялость, потянуло тоскою из Огарева. Надо сосредоточиться, уловить в себе распущенное.

Отчаянное письмо от Бори—о деньгах.

Днем заходила А. М. Аничкова, застала только меня. Книга от Брюсова.

Вечером—к А. П. Иванову. Не застав А. П. и Е. А., купили вкусного кушанья и пошли в кинематограф.

18 ноября.

И ночью и днем читал великолепную книгу Дейссена <sup>46</sup>. Она помогла моей нервности; когда днем пришел Георгий

Иванов <sup>47</sup> (бросил корпус, дружит с \* \*, готовится к экзамену на аттестат зрелости, чтобы поступить в университет), я уже мог сказать ему (об ἀνάμνησις'е, о Платоне, о стихотворении Тютчева, о надежде) так, что он ушел другой, чем пришел. В награду—во время его пребывания—записка от \* \*, разрешившая одно из моих сомнений последних дней (разрешившая на несколько часов).

Благодарственная и лестная карточка от L. Réau.

Если бы я умер, теперь за моим гробом шло бы много народу, и была бы кучка молодежи.

Читал поэму Пяста <sup>48</sup>, поражаюсь ее подлинностью и значительностью. Наконец, прочел всю.—Стихи «Апрель» Сережи Соловьева—нет, не только «паталогическое» талантливо (как говорила мама), есть, например «Шесть городов».

Мы кончили обедать, пришел \* \*. Пришел—лицо неприятно, провалы на щеках, маленькая, тяжелая фигурка. Стал задавать вопросы—вяло, махал рукой, что не за чем спрашивать, что выходит трафарет, интервью. О нем днем говорил мне Георгий Иванов, но он не такой (как говорил Г. И.). Бывший революционер... сидел в тюрьмах, астроном (при университете), работает в нескольких обсерваториях, стрелялся и травился, ему всего 22 года; но и вид и душа старше гораздо.

Не любит мира. «Люди не понимают друг друга». Скучно. Есть гамсуновское. Уезжает, живет один в избушке, хочет жить на Волге, где построит на клочке земли обсерваторию. Друг Игоря Северянина. Зовет меня ночью в обсерваторию Народного Дома смотреть звезды. Принес сборник стихов.—«Азеф нравится—сильный человек»,—нравился до тех пор, пока не стал «просить суда». Его пригнела к земле вселенная, звездные пространства, с которыми он имеет дело по ночам. Звезды ему скучны



(в науке разуверился, она — тоскливое кольцо, несмотря на ее современное возвращение к древности), но «красивы» (говорит вместо «прекрасны»). «Бога не любит».

Все-таки хорошая, хорошая молодежь. Им трудно, тяжело чрезвычайно. Если выживут, выйдут в люди.

Л[юба] сегодня вечером в ложе Аничковых на «Хованщине» с Шаляпиным. Я не пошел.

Сейчас ночь, я гулял (как часто, мимо курсов). Луна светит — не проклятая, как вчера ночью.

Милая девушка, целую Твою руку, благодарю Тебя за любовь, сегодня я влюблен в Тебя, вероятно, сейчас Ты очень любишь, мне принесли тишину Твои три слова — «Я вам верю».

20 ноября.

Вчерашний день проведен плохо, я уже подпортил себя.

Днем напряженный (и хороший) разговор с мамой (у нее). Письмо от Бори (хорошее). Обедают у нас Ремизовы. Вечером пришли Пяст, Княжнин <sup>49</sup> и Верочка Веригина <sup>50</sup>.

О журнале (Мережковский и Л. Андреев — были такие переговоры, едва ли надолго, если и будет). О сборнике (для опубликование повести Пяста, он принес ее мне). О русских орнаментах и цветах (как царь, так золото, пропавшее было при татарах; постоянные русские цвета: кра е н ы й, з е л е н ы й, с и н и й). О \* \* (я думал об этом иначе утром). О разговорах Кустодиева с царем — «новое».

Пяст к ночи захвалил Мейерхольда, споры Л[юбы] и мои, определение значительности Мейерхольда. Я устал к ночи — не достаточно был сдержан накануне.

21 ноября.

Днем заехал к Пясту и поехал с ним на лекцию Вл. В. Гиппиуса <sup>51</sup>.

Прекрасная лекция. Кровь не желтеет, есть и борьба и страсть. Под простой формой, под скромными словами, под тонкостью анализа Пушкинского пессимизма—огонь и тревога.

Хорошо сказано: «положить в ящик и бросить в яму» (о смерти); о фальшивом конце стихотворения «Для берегов отчизны дальней»: я этому не верю».

От Феодосия Печерского до Толстого и Достоевского—главная тема русской литературы—религиозная. В нашу эпоху общество ударило в «эстетический идеализм» (это, по моему определению, кровь желтеет).

Суть лекции—проповеднический призыв не только к «религиозному ощущению», но и к «религиозному сознанию».

Пушкин. Пессимизм лицейского периода. Всегда—сила только там, где просвечивает «доказательство бытия божия», остальное о боге—или бессильно, или отчаянно (переходящее в эпикуреизм). Завершение Пушкинских «исканий»—он впадает в «эстетический идеализм» (безраздельная вера в красоту).—Чтением многих стихов Пушкина В. В. Г[ишпиус] прибавил нечто к моей любви к Пушкину.

«Волчья челюсть» (гишпиусовская)—недаром. Они ей прищелкнут кое-что желтое.

Публика—милые (почти все) девушки, возраста Ангелины—«молодое поколение», еще неизвестно ни нам, ни себе.

Вышел вечером погулять—и привел с собой Ивойлова—сидели до второго часа, болтали, смотрели книги. В нем есть что-то общее с Б. Гудиным<sup>52</sup> (который, кстати, был сегодня у Любы днем, когда меня не было). Его надо приласкать, напоить чаем.

22 ноября.

День — тяжелый, резкий, бесснежный, чужие дела, деньги, банк, неудавшаяся переписка с братом Верховского о векселе.

Перед и после обеда — чтение потрясающей повести Пяста — тяжесть, вынимание души, тяжелая сонливость, как от чтения большого. Это не какой-нибудь роман Ясинского.

Пришел А. П. Иванов. С ним легкое с полуслова понимание, перебрасывание «одними» думами — огненное сквозь усталость (его и мою). Пришли Аничковы. Е. В. был блестящ; А. М. глубокая (?) и чужая. Я спорил с ними весь вечер; конечно, как всегда, о славянстве, о «желтизне», о религии. Ушли рано, около 12-ти (А. П. ранее).

Оказывается, вчера у Вячеслава [Иванова] \* \* читал о самодержавии (Александр II). Вот к чему он и в Зимний дворец ходил... По словам Аничкова, он не увлек, никто ничего не сказал после его чтения.

На ночь читал (и зачитался «Фальшивым купоном») Толстого, который неизменно вызывает во мне мучительный стыд.

Всю ночь — сны, сны. Сначала я — морской офицер, защитник родины, морское сражение. Под утро уже мы с Пястом — осматривающие какие-то книги.

23 ноября.

Вчера в 9 час. утра скончался 46-ти лет от роду в Москве от припадка грудной жабы В. А. Серов.

Днем у букиниста...

25 ноября.

Вчера весь день дома, картинка <sup>53</sup>, боль горла, нервы, уют.

Сегодня днем у мамы, ее привез обедать, обедала у нас также тетя. Читал вечером им поэму, новую переделку <sup>54</sup>. Совершенно слабо, не годится, неужели ничего не выйдет? Надо план и сюжет.

26 ноября.

Бесконечно смутный день. Переставляю карточки в новый альбом, купленный утром. Вечером иду в цирк в антракте (как я и предполагал) туда же приходит Пяст. Мы возвращаемся домой и говорим смутно до третьего часа. Я устал без конца. Что со мной происходит? Кто-то точно меня не держит, что-то происходило на этой неделе. Что?

27 ноября.

Последняя корректура «Нечаянной радости». Объявление о концерте (наглость <sup>55</sup>) и отказ от участия в концерте в гимназии Штемберга. Разговоры по телефону, письмо Панченке, телеграмма (через Любу). Рецензия Васи Гишпиуса о «Ночных часах» в «Новой Жизни».

Дважды приходил студент, собирающий подписи и в воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой). Я подписал. После этого — скребет на душе, тяжелое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее.

Но я сам: «Лучшие идеи, от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средства прийти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что ему последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во всех странах; но у нас эта черта общая» (Чаадаев).

Господи, благослови.

Господи, благослови.

Господи, благослови и сохрани.

Пойду бродить.

28 ноября.

Страшный день. Меня нет — и еще на несколько дней. Звонки. Посланные разными силами ломятся в двери. У Любы долго сидела \* \* — я не вышел на провокацию.

Письмо от Бори. Там есть место об одном из пунктов Сережи.

Сейчас едем в «Хованщину».

30 ноября.

Сегодня ночью скончался дядя Николай <sup>56</sup>. Конец бекетовского рода.

1 декабря.

Сегодня вторая годовщина смерти отца. Может быть, и объявлено об этом в «Новом Времени» или подобной помойной яме. Но я иду на другую панихиду.

На вчерашней панихиде, несмотря на мерзость попов и певчих, было хорошо; неуютно лежит маленький, седой и милый старик. Последние крохи дворянства — Василий на козлах; простые, измученные бекетовские лица; истинная, почти уже нигде не существующая, скромность.

Днем — клею картинки, Любы нет дома, и, как всегда, в ее отсутствие, из кухни голоса, тон которых, повторяемость тона, заставляет тихо проваливаться, подозревать все ценности в мире. Говорят дуры, наша кухарка и кухарки из соседних мещанских квартир, но так говорят, такие слова (редко доносящиеся), что кровь стынет от стыда и отчаяния. Пустота, слепота, нищета, злоба. Спасение — только скит; барская квартира с плотными

дверьми — еще хуже. Там — случайно услышишь и уж навек не забудешь.

Конечно, я воспринимаю так, потому что у меня совесть не чиста от разврата.

Боря прислал 35 рублей. Повидимому, он относится к деньгам с такой же щепетильностью и беспокойством, как в нашей семье.

— Все это мелко, мелко. Когда-нибудь посмеюсь тому, что записываю теперь в дневник. Тут еще много «психического состояния» (см. вчерашнее милое и глупое письмо тети Сони <sup>57</sup> ко мне — о Сереже!).

Задремал — и чудится все что-то (подошла мама — в платке, как всегда, тихо встала около меня). Пришел дворник за деньгами, не могу даже принять его, передаю через Таню. Он — поляк наглый.

---

Очень, очень плохо, жалко чувствую себя. Не пошел на панихиду, Люба пошла одна. Я побродил, пили чай, доклеивал египтянку и св. Клару.

На панихиде было опять мало народу.

2 декабря.

Печальный день. Вечером — я на панихиде.

3 декабря.

Утром мы с Л[юбой] на похоронах, пришли к Курсам <sup>58</sup>. После похорон ходили с мамой и тетей на свои могилы, потом приехали в карете к маме, сидели с Л. у нее до обеда. Мама дала мне совет — окончить поэму тем, что «сына» поднимают на штыки на баррикаде.

План — 4 части — выясняется.

I ч. — «Демон» (не я, а Достоевский так назвал, а если не назвал, то e ben trovato), II — Детство, III — Смерть отца, IV — Война и революция — гибель сына.

Мир во зле лежит. Всем, что в мире, играет судьба случай, все, что встало выше мира, достойно управления богом. В стихотворении Тютчева — эллинское, дохристианское чувство Рока, трагическое. Есть и другая трагедия — христианская. Но, насколько обо всем, что дохристианское, можно говорить потому, что это наше, здешнее, сейчас, настолько о христовом, если что и ведаешь, лучше молчать (не как Мережковский), чтобы не вышло «беснования» (Мусоргский). Не знаем ни дня ни часа, в онъ же грядет сын человеческий судить живых и мертвых.

— Вечером — заседание Общ[ества] Р[евнителей] Х[удожественного] С[лова]. Я — председатель, что незаметно ни для кого, кроме меня, нервного, незащищенного со времени провала и получающего какие-то незримые токи — шпильки в душу. Сначала несколько слов об И. Анненском (опять некрология), потом — соображения Вячеслава [Иванова] — «морфология стиха», и разговоры и споры до 1/2 3-го. Сергей Плат. Каблуков как-то за дверью — зачем он там, у нас, не знаю хорошенько, но сочувствую. Пяст — мое чувство, мой провал отчасти от него. Ночью мороз, я его провожаю, он целует меня... Хороший Недоброво <sup>59</sup> — и жена его \* \* — «выездной лакей» (Пяст) из Киева. Много народу — «умного до глупости» и наоборот. Мучительная усталость.

5 декабря.

Письмо и книга Клюева. Букинист. Вчерашние вечерние соображения о Старинном театре — ужас его. Сегодня издерганные нервы, по ночам опять скверные сны; то восторг, то отчаяние. Пишу много писем.

6 декабря.

Последние дни — учащение самоубийств, — молодежь, гимназисты.

Письмо от мамы. От Л. Андреева — «Сашка Жегулев». II тома Толстого.

У Л[юбы] сидят \* \* и художница Х. и глупо о чем-то говорят (слышно — Англада, Зулоага...). Я над клюевским письмом. Знаю все, что надо делать: отдать деньги покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу.

Стишок дописал — «В черных сучьях дерев».

Вечером — оттепель, все течет, Люба в Старинном театре, а я брожу, и в кинематографе.

*7 декабря.*

Переписка письма Клюева. Письмо Городецкому и \* \* и посылка им послания Клюева (завтра пошлет мама) Днем — с мамой (у меня) — долгий и хороший разговор. От Спекторского — 25 экземпляров его брошюры об отце <sup>60</sup>.

Вечером — дождик — я в нашем цирке.

*9 декабря.*

Встали утром — такая тьма, что дома сидеть видно нечего. Пошли (врозь) в Александровский рынок. Я купил опять хороших книг, хоть все ненужных. Люба купила чернильницу.

Вечером пришли Женя, Ге, потом — Пяст. Прекрасные, долгие споры.

С Пястом — нежно расстались, до свиданья, милый. Послание Клюева все эти дни — поет в душе. Нет, — рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира.

Жене и Ге (а сегодня в тот же час, немного раньше, получил ее Городецкий) подарил книжку Спекторского об отце.



Не имею сил писать подробно. Слишком ужасны: 1) вчерашний вечер; 2) ... 3) ... 4) сегодняшняя несчастная женщина (О. К. Соколова — «Окс»<sup>61</sup>); письмо мучительное \* \*.

14 декабря.

После страшных, тревожных и пустых дней, когда писать было лень.

Город ужасно действует. Сравниваю свое состояние осенью и теперь. То же и мрак. За эти дни: приходила О. К. Соколова (ее дневники — прочесть — за 25 лет). — Не принял г. Гюнтера. Вчера у Ивановых — именины Жени. Я в отчаянии от того, что вечно упорно путаю невест, не вижу.

Теперь, наконец, знаю которая Вера. Не хочу говорить об этом даже Жене, ему было бы это неприятно.

М[ария] П[авловна] — совсем другая, чем осенью — необычайно красива и торжественна. Братья с женами, «молодые друзья» Жени, мы с мамой и Любой.

Ни с кем ничего не договорить, устал, сплю плохо, дилетантски живу, забываю и письмо Ключева; шампанское, устрицы, вдохновения, скука; не жалею, но и не доволен...

Сегодня иду к Поликсене Сергеевне.

Шатания по букинистам.

Поликсена Сергеевна больна, лежит (простуда, как всегда, соединилась с болью сердца). Мама там. Сидел с Натальей Ивановной Манас[еиной], Карриком, Форш, Белявской и Марией Павловной.

Вечером — возбуждение, слоняюсь по всему городу.

Сегодня—расстроен. Третьего дня—мучительно. Вчера вечером—А. П. и Е. А. Ивановы, а после них до 5-ти часов утра разговор с \* \*. О том, что «пора» (и он). Злой, тяжелый, Достоевщина, ах, этот М., этот Ц...<sup>62</sup>. Еще испытывать его,—а он думает, что он меня. «Борьба нераздельна с убийством», и «инок несовместим с воинством» — два вполне непонятных мне...

Сегодня утром—денежное... Куда бы съездить отдохнуть.

Третьего дня читал рассказы офицеров о турецкой войне—мерзость и скука, но лучше Л. Андреева.

Отмахиваюсь, отписываюсь, пойду в ванну.

Писал Ключеву: «Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом».

Женщины (как-то «вообще»).

18 декабря.

У Любы сидит \* \*. Я ничего не имею против \* \* в частности, но боюсь провокации. Горько услышать или увидеть что-нибудь самое... желтое, сытое, в той семье, в той крови, от которой я оторвал Любу. Особенно горько теперь, когда ненавидишь кадетов и собираешься «ругать» «Речь», когда не любишь Л. Андреева... когда лучшие из нас бесконечно мучатся и щетинятся (Боря, Ремизов), когда такой горечью полны пропитана русская жизнь.

Сегодня — дочитал, наконец, этот скучный, анархический, не без самодовольства, хоть и с добрыми намерениями, плохим, из рук вон языком написанный, роман Андреева<sup>63</sup>. Только места об измене как-то правдивее, но все—такая не приятная неправда, надоедливо разит \* \*. Рядом с этим «шиповники» (на втором месте обложки

и буквы помельче и имя без отчества) поместили рассказ Ремизова — до слез больной; пустяк для него, но в тысячу раз больше правды (и больше, потому, влияния, света), чем в Андрееве; тем больнее и здесь уловить тень неправды, которая бременем легла на русскую литературу. А [лексей] М [ихайлович] боится этой неправды, у него она пройдет, Л. Андреев лезет в нее, как сытый и глупый; и куда пойдет его сила, его талант? Страшная, тягостная вещь — талант, может быть, только гений говорит правду; только правда, как бы она ни была тяжела, легка — «легкое бремя».

Правду, исчезнувшую из русской жизни, — возвращать наше дело.

Я вышел, все-таки, сидели с \* \*, и провокации не было. Она изменилась, похорошела еще.

Пришел Кожебаткин, принес 4 экземпляра только-что вышедшей «Нечаянной радости». Говорил много о Сереже — его положение еще серьезнее, чем я думал.

Сегодня — первый большой мороз, сейчас (вечер) понесу книгу маме. — Очень уютно провел вечер с мамой и Францем <sup>64</sup>.

*22 декабря.*

Последние дни были печальны и мрачны для меня Холода и оттепели. Мама была у меня два дня назад. Какое-то интервью, к счастью, по почте. Письма тети Сони ко мне и Марии Павловны — к маме — светлые места.

Скончалась мать В. Ф. Коммиссаржевской. Вчера Л [юба] была на открытии Менделеевского съезда (на телеграмму Кассо — молчание с присвистом. Замечательная речь Умова).

Надо писать для «Хроники Мусажета». Покупка книг у букиниста.

Вечером говорил по телефону с З. Н. Г[иппиус], от которой получили письмо, с Пястом и с В. Е. Копельман (о сборнике в пользу голодающих).

С Пястом говорили до 3-х часов. О сборнике (для помещения «Чина моей жизни»), ссора Ремизовых с Гуро<sup>65</sup>, желание Аничкова издать его, отношение Бори — его молчание, что поместить на первом месте. О «России» (разговор Пяста с Адриановым обо мне и др. Будто мы силится навязать России то, что для нас стало прошлым и ненужным — это Куликово поле! Пяст соглашался с Адриановым....

(Tat twan asi — Пяста) все это — ты (я) Вячеслава Иванова (ты еси). О «ступенях посвящения».

Мое: с запада и с востока блаженство — там не пути, но разветвления наших путей. С запада — горький запах миндаля, с востока — блаженный запах дыма и гари: слишком большие уклонения, извивы пути (всепонимание, вселюбовь), создают холодный ужас (Баратынский, Тютчев), безумие (иногда до сумасшествия).

Больно, когда падает родная береза в дедовском саду. Но приятно, сладко, когда Гадилая и Бруно сжигают на костре, когда Сервантес изранен в боях, когда Данте умирает на паперти. — Приходит возраст (в свое время), когда всепонимание само прекращается, когда над бедным шоссеиным путем протягивается костяной перст и черную рясу треплет родной ветер. Потом — проходит и родное (родина)... Всякому возрасту — свое время.

«Вся пройденная прейдет».

---

На древний Запад, на кривой ятаган Востока мы смотрим, как на блаженную мерцающую красным светом  $\alpha$  Ориона (Бетейгейзе).

Я пробыв у Мережковских от 4 до 8, видел Зинаиду Николаевну и Мережковского и Философова. Согласие во многих думам с З. Н. (она велела записать о сходстве дум об «общественной бюрократии», М. Ковалевский и др.). Долгий спор. Я читал письмо Ключева, все его бранили, на чем свет стоит, тут был приплетен и П. Карпов. Будто—христианство «ночное» «реакционное», «соблазнительное». Добр[олюбов] и Сем[енов] — высшие аристократы (Философов). Эстетизм—мой (Филос.). Все это не было мне больно, но многословие, что-то не то, или я действительно не понимаю какого-то последнего у Мережковских, если есть, что понимать, если «их трое» — реальность, если они действительно бескорыстны.

Книги—одна с хорошей, другая с трогательной (если правда) надписью. Верю, что — все правда.

Предложение писать короткие (100—150—200 строк) статьи в «Русском Слове», в одном отделе с З. Н.

В. Так же — полное, «умилительное» согласие относительно «Сашки Жегулева» и автора его — «властителя современных дум». Что это — «вкус», или больше вкуса?

---

Вечер—дома, тихо... завтра сочельник. Сегодня пришли «Старые Годы», «Искусство и Печатное Дело» (на полчаса упился сомовскими очарованиями).

В столовой стоит елка.

Мережковский сегодня: вся «Индия» — нирвана (дохристианское) — ужас, небытие. Не было Имени. «Не дожимайте меня» Сергием Радонежским, Серафимом Саровским — «я знаю, чем это пахнет». — Сыщик у дверей. — Все теперь о «несказанном», это — пустота, отсутствие общности. Теперь такое время, что нужно твердо

знать, что «голод — голод, реакция — реакция, смертная казнь — смертная казнь».

Итак — сегодня: полное разногласие в чувствах России, Востока, Клюева, святости. Полное согласие во вкусах (если бы более!) относительно Л. Андреева, Чулкова и т. д...

Пишу З. Н. и Руманову <sup>66</sup>.

Из письма М. П. И[вановой] к маме (20 декабря): «Родная моя А. А.»... «Пожалуйста, не думайте, что я испугалась слов эшафот и т. п. и потому отношусь отрицательно к письму Клюева. Когда я начала читать, то мне очень понравилась красота образов и сравнений, но так от начала и до конца и была только одна красота. Из-за этой красоты до сути едва доберешься. Чужая душа — потемки, поэтому я всегда боюсь обвинять человека в чем-нибудь, не зная его хорошенько, но по письму могу сказать только, что поэт совсем закрыл человека. Видно, что он любит А-дра А., но очень уж много берет на себя \*, предъявляя такие обвинения, угрозы, чуть ли не заклинания. Куда он зовет? Отдать все и идти за ним \*\*, и что же делать? Служить России? Но это ведь даже не Россия, а его дикий бор (NB) только, неужели истина только там?... перезвон красивых фраз, и А. А. принял это очень к сердцу только потому, что, вероятно, сам переживал разные сомнения, и вот в этой-то борьбе с самим собой гораздо больше бога, чем в горделивой уверенности в своей правоте К. Он был обижен смехом иронии и недоверия А. А. над дорогими ему вещами; но мне кажется, это был смех, чтобы заглушить в себе горечь и недовольство самим собой. Я думаю

---

\* Мое. (Сноска Ал. Блока).

\*\* NB. Это я и понял — так честно понять.

а Ал. Блока).

и надеюсь, что бог, который носит определенное название нашего Спасителя, и Который \* (NB) — даровал талант А. А. поможет ему в конце концов найти самому истинный путь к спасению себя и других, потому что А. А. понимает не одну только красоту, но и страдание \*\*. Удивляюсь, что К., только написав А. А. разные обвинения и не зная даже, как их примет А. А., через несколько строчек уже дарует ему прощение, нет не нравится мне это. Женя читал, и ему тоже не нравится. Скажите обо всем А. А. и судите меня оба как знаете, а я останусь при своем. У К. очень много гордости и самоуверенности, я этого не люблю»...

Дальше — об «Отце Сергии» Толстого.

---

И это слагаю в сердце.

В. З. Н. [Гиппиус] сегодня говорил о Миролюбове <sup>67</sup>, не придавая ему значения — «без воли», «полупевец». Другое дело — люди с настоящим уклоном воли (враждебным им) — Добр[олюбов] и Сем[енов].

24 декабря.

В «Утре России» заметка о юбилее Бальмонта и «вспоминания» Грифа <sup>68</sup>. Чувствую себя горьковато.

Вчера меня поцеловали на прощанье — З. Н., а потом и Д. С. [Мережковские].

\* \* для Мережковских — националист. Об «изгнании» Розанова из «Русского Слова» (визит Руманова к нему). У меня при таких событиях все-таки сжимается сердце: пропасть между личным и общественным. Человека, кото-

---

\* К подправлено из к (Пометка Ал. Блока).

\*\* Так. М[ережковские] говорят тоже, что К. не понимает меня. «Разве вы любите одну красоту!» — воскликнул М-ий. (Сноска Ал. Блока).

рого бог наградил талантом, маленьким или большим, непременно, без исключений, на известном этапе его жизни—начинают поносить и преследовать—все или некоторые. Сначала вытащут, потом—преследуют—сами же. Для таланта это драма, для гения—трагедия. Так должно, ничего не поделаешь, талант—обязанность, а не право. И «нововременство» даром не проходит.

Р[озано]ву Сытин платит жалованье, но просит не писать.

Вечный ужас сочельников и праздников: мороз такой, что на улице встречаются растерянные, идущие неверной походкой люди. Я, гуляя перед ванной, мерзну в дорогом пальто. У магазина на Большом проспекте двое крошек—девочка побольше, мальчик крошечный, режут, потеряв (?) отца. «Папа пошел за пряниками, была бы елка». Их окружили, повезла на извозчике какая-то женщина на Пушкинскую, но они не помнят номер дома, может быть и не доведет. Полицейский офицер, подойдя, говорит—«что за удивление, таких удивлений бывает сотня в день». К счастью, хоть перед Рождеством все добрые.

---

Выпили вечерний чай, перед сном думаем зажечь елку. Мне тягостно и от праздника, как всегда, и от сомнений и усталости, которые делают меня сонным, униженным и несчастным. Сомневаюсь о Мережковских, Клюеве, обо всем. Устал—уже как рано, сколько еще зимы впереди. Надо бы не пить больше.

26 декабря.

Вчера (мороз—20°) у мамы уютно обедали, зажигали елку, получали подарки (впятером—и тетья).

Сегодня—\* \* у меня весь день. Трудный, в общем, разговор. Он говорит: \* \* ставит ему меня в пример дея-



тельности, мудрости, никуданехождения и т. д. То, что он называет магией, возникающей между нами, он не хочет знать, ему это или неприятно (как в прошлом году в цирке), или безразлично. Ему в этом главное — то, что он не видит меня систематически, это «мешает».

Читал хорошие восьмистишия.

Думаю о сотрудничестве в «Русском Слове».

Едва успел я вздохнуть после \*\*, пришел \*\*, а к обеду — \*\*. Кончилось все в 10 часов — моим изнеможением и злостью. Все эти милые русские люди, не ведая часов и сроков, приходят поболтать и не прочь «углубиться кое во что глубокое». Тяжесть, тягость...

Все это тем ужасно, что ни за что, ни про что, с лучшими намерениями, теряешь последние силы, последние нервы и трудоспособность. Чего-чего не было наговорено, а почти все — ненужное и лишнее, а что и нужно, то сказано и сделано бессознательно, а мною только намотано на ус.

Какофония насчет Брюсова о Баратынском (\*\* с \*\* устроили — один на турецком барабане, другой на визгливом кларнете).

Будто \*\* говорит о том, что он бы сошелся с Брюсовым (... сплетня). Дай, господи, чтобы эти двое приняли, наконец, друг друга в объятия, т. е., чтобы этот \*\* окончательно отвалился от меня — со всеми своими достоинствами, не только с недостатками.

Гнездо Рачинских (Меженинки, Бобровка и Татево <sup>69</sup>).

... Городские человеческие отношения, добрые ли, или недобрые, — люты, ложны, гадки, почти без исключений.

Долго, долго бы не вести «глубоких разговоров»!

Родство Баратынских, Тютчевых, Рачинских, Дельвигов и т. д. Неточности прекрасной статьи В. Брюсова о Баратынском в словаре Ефрона.

Со вчерашнего дня побаливает печень.

Из этих записей (как попало)—хоть бы что-нибудь вышло потом! Пишу всегда вздорное рядом с серьезным—только с этой целью.

27 декабря.

...Продолжаю вчерашнее. Лампадка у образа горит—моя совесть.

Городские отношения людей между собой ложны и безысходны. Вчерашний моральный конфликт был очень поучителен.

\* \* при \* \* ругает сначала Садовского, потом Брюсова (как будто мы «en petit comité»—ему так кажется по его нечуткости). Ругает не с высоты морали поэта и художника, а с низин обывательско-профессорской морали. Если бы мы были вдвоем, я бы поддакивал милому \* \*, уязвленному в лучших чувствах и обиженному не однажды, например, Брюсовым, которого ведь и я не очень люблю. Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости людям, имеющим с ним отношения, и особенно—зависящим от него.

Но тут же сидит \* \*, вышедший из своего темного угла, где у него, вероятно, свои высокие думы, так называемые «переживания», но и своя озлобленность (оттого, хотя бы, что он в детстве не знал настоящей матери, настоящего уюта детства, который создает фон для будущей жизни в миру; не было матери; ее (не) заменяла \* \*, ...дилетантка с головы до ног; ей оправдание, в свою очередь, но сейчас это завело бы меня далеко).

Итак, сидит \* \*, который злобно улыбается при одном почтенном имени Гершензона. Действительно, скверное имя, но чем виноват трудолюбивый, талантливый и любящий настоящее исследователь, что он родился (евреем?) и вся цель которого найти в речах \* \*—твердую почву для

оплевания Садовского и Брюсова. Зачем и за что? Только затем, чтобы быть спокойнее относительно (так называемых) «символистов», найти теплоту, согреть себя в своей холодной замкнутости утешением, что все — прохвосты, и символисты тоже воруют платки из кармана. Нововременцы воруют, \*\*, как человек с умом и моральными наклонностями, постоянно принужден сдавать свои новременские позиции, не имеет сил (а кто же правдивый их имеет?) доказать, что Меньшиков и К<sup>0</sup> — не подлецы. Зато уж, чем меньше остается у него обольщения насчет «Нового Времени», тем больше ищет он найти пакость и в других лагерях. Этого и нам не занимать стать, и наивный \*\*, хотя и не совсем бескорыстно (и, следовательно, тоже не с кристальной нравственностью), дает богатый материал для обвинения Садовского в том, что он оклеветал Пушкина, Д. Давыдова, Державина и Полежаева (не со слишком широкой точки зрения, можно и надо спорить, не принята во внимание злоба Садовского, в которой есть творческое), и для обвинения Брюсова в небрежном отношении к мелким фактам биографии Баратынского. Последнюю критику \*\* сопровождает обобщениями о брюсовской мелочной гадости, на которую Брюсов способен.

Таково — положение. Я, изнуренный глупым и милым \*\*, говорящий уже десятый час (подряд); все больше злюсь и кончаю тем, что резко обрываю \*\*. За дверью, на лестнице объясняю ему положение дела.

...Но: кому нет оправдания? — Такова цепь жизни, сплетение одной нити в огромный клубок; и всему — свое время: надо где-нибудь порвать, уж слишком не видно конца, и нить разрезают — фикция осуждения, на голову, невинную в «абсолютном» (гадость жизни, темнота ее, дрянь цивилизации, людская фальшь), падает вина

«относительная». Кто не налагал своих схем на эту путаницу жизни, мучительную и отрадную, быть может: отрадную потому, что в конце ее есть какой-то очистительный смысл.

Отец мой—наследник (Лермонтова), Грибоедова, Чаадаева, конечно. Он демонски изобразил это в своей незаурядной «классификации наук»: есть сияющие вершины (истина, красота и добро), но вы, люди—свиньи, и для вас все это слишком высоко, и вы гораздо правильнее поступаете, руководясь в своей политической по преимуществу (верх жестокости и иронии) жизни отдаленными идеалами... юридическими (!!!). Это ли не демонизм? Вы слепы, вы несчастны, копайтесь в политике (ласкающая печаль демона) и не поднимайте рыла к сияющим вершинам (надмирная улыбка презрения—демон сам залег в горах, «людям» туда пути нет). Все это—в несчастной оболочке А. Л. Блока весьма грешной, похотливой... Пестрая, пестрая жизнь, острая «полоса демонской стали», жестокая, пронзающая все сердца.

Днем было частью уютно, к обеду квартира промерзла, стало гадко. Вечером пришел милый Женичка, так мы сидели, болтали, мне стыдно перед ним, что я такой усталый. Очень хорошо он рассказывал о кинематографической картине, и болезненные все рассказы о Розанове. Все, что о нем слышишь в последнее время («Русское Слово», Мережковские, Философов, Руманов, Ремизов)—тягостно.

Днем я вставил в раму Усекновение Главы Массиса и занимался картинками.

*29 декабря.*

Вчера целый день читал огромный дневник О. К. Соколовой (Мартыно)—за двадцать пять лет, прочел половину. Это—южанка с неукротимыми страстями, с чудесной наивностью и высокими нравственными задатками в детстве;

терзаемая и, может быть, растерзанная уже трудной жизнью—с вечными ловеласами, без денег, в среде ничтожной, провинциальной. Вероятно, была красива—немного по-цыгански (без цыганской «сверхчувственности» однако). Женщина до мозга костей, в области чувства—богатство, широкий диапазон (музыкантша, виолончелистка, вероятно, очень талантливая, но с разбитой карьерой), в области рассуждений—робость, узость, невнятное бормотанье, скучные прописи. Невежественна, не знает и изящной литературы, безвкусна, как южанка, в судьбе и стремлениях есть общее с Санжарь, но лучше—мягче, без самовлюбленности и самоуверенности, с более узкими, личными планами. Мне очень нравятся ее гимназические годы.— Почитаю еще.

Вчера же—получил «Нечаянную радость» (89 экземпляров)—с вокзала доставил посыльный. Избегаю людей, приходил Толстой, Таня не приняла его.— Тяжелый вечер.

Сегодня нежный день. Мороз сильный, но в нем есть ласкающее. Любино рождение, ей тридцать лет... Мама прислала сирень, я подарил книжку (10 драм V. Hugo) и денег на уральский камушок. Люба на своем съезде почти весь день, вечером сидела уютная, в красном капоте, хотела спать.

---

Я днем у букиниста на Дворянской (купил кроме Л[юбинова] подарка, смирдинского Карамзина, стихотворения Плещеева и «Историю русской церкви» Филарета— все за 10 рублей). Вечером гулял, принес колбасы и хлеба. Заходил Георгий Иванов (не приняли), письмо от него, от И. Брехничева, от Руманова (говорил с ним по телефону, жду его завтра, с 1 января буду получать «Русское Слово»). Вчера—от Смородского. Гонорар от «Аполлона».

Приближается Новый год. Господи, дай мне быть лучше. Встретим его у мамы.

Ангелина, которую ждал эти дни, не идет, ей трудны, конечно, как и мне, всякие «поступки».

*30 декабря.*

День очень важный для меня. Утро — гулял, Люба все утро и полдня на съезде, слушала замечательную речь Кульбина <sup>70</sup>.

Днем читаю (и дочитываю) дневник О. К. Соколовой. Надо очень подумать: так оставлять нельзя, надо печатать, хотя бы с сильной переработкой и сокращениями. Необычайная откровенность, не оставляющая сомнений при вульгарности (хотя гладкости) языка и многословии — торжественная симфония — страсти, по меньшей мере, страсти всегда одухотворенной.

---

Перед обедом пришел (и обедал) Руманов. Прежде всего он очень стройно изложил все существенное о «Русском Слове».

Тираж «Русского Слова» — 224 000, т. е., считая 10 человек на № (это minimum) — около 2 500 000 читателей. Газета идет вокруг Москвы и на восток, кончая Сибирью.

Газета не нуждается ни в ком (из «имен»), держится чудом (мое) — чутьем Ивана Дмитриевича Сытина, пишущего деньги через Ъ, близкого с Сувориным (самим стариком), не стесняющегося в средствах (Дорошевичу, уходящему теперь, предлагалось 48 000 в год и пожизненная пенсия 24 000)...

Язык газеты.

Ее читатели.

Ее внутренняя противоречивость и известная патриархальная косность, благополучие.

Меня приглашает Руманов по своей инициативе.

Это пока — все существенное, что мне нужно иметь в виду.

Облик Руманова. Его разговор с Коковцовым (и Витте). Завтра буду у Руманова — перед встречей Нового года у мамы. Вчера гулял и занимался картинками.

31 декабря.

Сильный мороз. Эти дни мы встаем рано, — месяц еще не погаснет, а под ним розовое небо, — Люба на съезд, и я кстати.

Кончается журнал и газетка Ефрона (?). (Очевидно, — Проппер пересилил). Дополнения о «Русском Слове» (по словам Руманова). «Русское Слово» полагает, что Россия — национальное и государственное целое, которое можно держать другими средствами, кроме новременских и правительственных. Есть нота мира и кротости, которая способна иногда застывать в благополучной обывательщине. Тревожится — сам И. В. Сытин.

\* \* \* относится отрицательно к социалистам всех оттенков («неразборчивость средств», «жестокость», «нереальный нарост»).

Иметь в виду многое не записанное здесь (и во всем дневнике), что не выговаривается — пока.

О Л. Семенове, о гневе, на него находящем (был здесь весной).

О Маше Добролюбовой. Главари революции слушали ее беспрекословно, будь она иначе и не погибни, — ход русской революции мог бы быть иной.

Семья Добролюбовых. Брат — морской офицер, франт, черносотенец. Мать — недурная, добрая (в противоположность мнению А. В. Гиппиуса).

Рерих в «Русском Слове» заведует отделом искусства. Искусство для «Русского Слова» — только небольшой угол.

Мережковских провести в «Русское Слово» было трудно, теперь Мережковский и Философов — «свои люди» там. Гишпиус провести будет трудно.

Алое солнце садится в морозный туман. Я иду в ванну.

... Сейчас иду к Руманову, а от него — к маме встречать Новый год.

Дай бог... встретить Новый год и прожить — заметно. Дай бог.

Нет, лучше не кончить записи никак, я суеверно боюсь вписывать недостаточно важные (по настроению, которое сейчас) в эту тетрадь.

---



# **ДНЕВНИК 1912 ГОДА**



2 января.

Господи благослови.

Когда люди долго пребывают в одиночестве, например, имеют дело только с тем, что недоступно пониманию «толпы» (в кавычках — и не одни, а десяток), как «декаденты 90-х годов, тогда — потом, выходя в жизнь, они (бывают растеряны), оказываются беспомощными и часто (многие из них) падают ниже самой «толпы». Так было со многими из нас. Для того, чтобы не упасть низко (что, может быть, было и невозможно, ибо никаких личных человеческих сил не хватило бы для борьбы с бурей русской жизни следующих лет), или — хоть иметь надежду подняться, оправиться, отдохнуть и идти к людям, разумея под ними уже не только «толпу» (а это очень возможно для иных — но не для всех), — для этого надо иметь большие нравственные силы, т. е. известную «культурную избранность», ибо нравственные фонды наследственны. В наши дни все еще длится — и еще не закончен — этот нравственный отбор; вот почему, между прочим, так сильно еще озлобление, так аккуратно отмеривается и отвешивается количество арийской и семитической крови, так возбуждены национальные чувства; потому не устарели еще и «сословные счеты», ибо бывшие сословия — культурные ценности, и очень важно, какую культурную струей питался каждый из нас (интересно, когда касается тех,

о еще имеет «надежды», т. е., не «выродился», не разложился, не все ему «трын-трава»).

Вчерашнее воззвание Мережковского <sup>71</sup> очень высоко и очень больно. Он призывает к общественной совести, тогда как у многих из нас еще и личная совесть не ожила.

— Пишу я вяло и мутно, как только-что родившийся. Чем больше привык к «красивостям», тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь действительной связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо, и на что-либо кроме баловства, нужным.

Весенних басен книга прочтена —  
Мне время есть размыслить о морали.

(Ибсен)

Во время завтрака пришла Ангелина — мы с ней много и хорошо говорили. В 4 часа (как я вчера написал) пришла О. К. Соколова — с ней говорили до 8-ми. Я понимаю ее труднее, чем ее дневник, который надо ли печатать? — до сих пор не знаю.

Л[юба] на съезде — утром и вечером. Пришла «Тропинка».

Поздно вечером — Вячеслав Иванов по телефону пригласил — я не поеду.

3 января.

Днем — писание и дописывание стихов, сознание, что работаю, Л[юба] на съезде, письмо от \*\*, корректура III книги «Собрания стихотворений». Вечером — Пяст, взаимные рассказы о делах и кругах, около которых вращаемся.

Прекрасные статьи Пяста в словарь (под ред. г. Адрианова) — о Дружинине (широкие перспективы и много гово-

рядшие параллели, которые придется сократить — для словаря), о Дурове (поэте), о Мих. де Пуэ.

В заключение я ему сообщаю мимолетные наблюдения о З. Н. Г[иппиус].

Газетку «Утро России» перестали посылать, слава богу. Небрежность конторы (я — не сотрудник) доставляла ее мне года два, и я перелистывал ее каждое утро, теряя только время. Кто разберет, кому и чему она служит?

Если я попаду в «Русское Слово» или хотя бы сумею сосредоточиться на своей работе, я оставляю окончательно всякие «академии» и «цехи», также — болтовню, когда она только болтовня.

5 января.

.....  
Вчера утром Л[юба] на съезде (последний день), у меня Городецкий (читал стихи, некоторые хорошие — «восьмушки», как он называет). Письмо от \* \*.

Обед. — Л[юба] у своих, я у мамы (втроем — уютно — известие о том, что тетя Соня очень больна, может быть, умирает; мамино электричество; об \* \* — что я один могу ей сказать о «чувственности»; у мамы на днях была Поликсена Сергеевна, будет посылать последнюю корректуру «Тропинки»).

Вечером — мы с Пястами (вчетвером) в ложе в оперетке «Романтическая женщина» (несколько напевов, Пионтковская, Грехов). После театра — у Пястов. Нонны Александровны я дичусь. Дети, квартира. До 1/2 3-го ночи. Пяст показывает места из дневника.

.....  
И Городецкий и Пяст говорят, что интересен дневник Соколовой (то, что я рассказываю).

Мысли о Мережковском и Вячеславе Иванове. Мережковские для меня очень много, издавна, я не могу

обратиться к ним с воспоминательными стихами, как собираюсь обратиться к Вячеславу [Иванову], с которыми теперь могу быть близким только через воспоминание о Лидии Дмитриевне.

Пришло «Русское Слово» и «Искры».

В «Русском Инвалиде» тоже помещен гороскоп на 1912 год, сулящий события.

Был интервьюер от «Солнца России», заставил написать несколько слов о Надсоне.

Днем гулял и у букиниста (купил новые книги). Вечером — к А. П. и Е. А. Ивановым — Женичка с Клеоп. Мих. и с Юрой, Петя с женой, Ге с Настей <sup>72</sup> (Ге — ужасный бедняжка, милый ребенок, ему все тяжелее), Гуро с Матюшиным. «Глубокий» разговор с Ге, «глубокий» разговор с Гуро. Я плету ужасно много, туманно, тяжело, сложно своим усталым, ленивым языком, однако иногда говорю вещи интересные. Квартира Ивановых — просторно, чисто, красиво, но есть бесприютность — пустовато. Очаровательный, застенчивый, добрый А. П. [Иванов].

6 января.

Тихий день. Отправляю (и дописываю) стихи (Миролюбову для «Знания») и другие. После обеда пришел \* \*, которого не приняли. Ванна, кинематограф, Люба дома весь день.

7 января.

Видел автомобиль царя, проехавшего в Лицей. Днем у мамы. Подтверждение моих предположений о болезни \* \* и ужасное положение \* \*. — О тете Соне новых вестей еще нет, в Трубицино <sup>73</sup> поехала тетя Софа <sup>74</sup>. Вечером отказал Руманову, который должен был прийти — до 11-го с ним не увидимся.

9 января.

Вчерашнего дня не было. Был только вечер...

Сегодня в ответ на письмо \* \* (сегодняшнее) пишу:

«Есть связи между людьми, совершенно невысказываемые, по крайней мере, до времени не находящие внешних форм. Такой я считал нашу связь с Вами — по всему, что Вы говорили, по всему, что увидел в Вас, по всем „знакам, под которыми мы с Вами встретились“. Если это так действительно (а я часто думаю, что да), то, что значат такие письма, как Ваше последнее? Я ненавижу приступы Вашего самолюбия и происходящего от него недоверия, потому что вижу пути, по которым Вы к ним подходите. Ну, да, это только — „чувствительность кожи“, „принцесса на горошинке“ — и всегда связанная с внешней чувствительностью — не чувствительность внутреннего, душевная слепота; как только Вас настигает это, — Вы становитесь не собой, одной из многих, уходите куда-то в толпу, становитесь подобной каждому ее атому, который сам по себе бессилен и лишен способности влиять и руководить, потому что предан внешнему и личному.

«Если Вам угодно избрать этот путь, то для меня невозможны ни внешние ни внутренние встречи с Вами, потому что в первый раз мы встретились с Вами не под этим знаком и потому что я давно иду по другому пути. Если бы было нужно то, о чем говорите Вы, то мы встретились бы с Вами раньше; этого не случилось, я прошел половину жизни (может быть, большую) другим путем, и мой путь неизменим. — Демон самолюбия и праздности соблазняет вас воплотиться в случайную звезду 10-ой величины с неопределенной орбитой. Я не толстовец, не американский моралист, чтобы не признавать таких возможностей в нашем мире; и даже больше того, — я уверен, что в нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая «астральная мода» на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое

очарование. Но я уверен также, что Вы могли бы быть не только красивой, но и прекрасной, не только „принцессой на горошинке“, каковые водятся в каждом маленьком немецком княжестве, но и просто принцессой—разумеется, менее заметной, но и более единственной. Еще я уверен, что соблазны пустоты всегда тем сильнее, чем больше возможностей полноты.—Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются „незнакомки“ с „поэтами“. Вы—не „незнакомка“, т. е. я требую от Вас, чтобы Вы были больше «незнакомки», так же как требую от себя, чтобы я был не только „поэтом“. Милый ребенок, зачем Вы зовете меня в астральные дебри, в „звездные бездны“—целовать ваши раздушенные перчатки,—когда Вы можете гораздо больше—не разрушать, а созидать».

---

Это письмо посылаю, она должна его понять.

Едва успел дописать свой ответ, он покрыт письмами З. Н. Гиппиус и М. П. Ивановой.

Днем—патаюсь. Вечером свел Любу в цирк («бенефис клоуна Жакомино», непослушный Эмир, откормленные львы и Куприн в ложе.)

10 января.

Четвертое мое письмо (за два дня) М. П. [Ивановой] о том, что не могу ничего ответить ей по-настоящему. Потом—ей было неприятно, что я приложил цыганский романс с лицом г. Северского (хоть и замазанным).

11 января.

Днем—мама—уютно.

Вечером (Люба—в концерте Кусевицкого).

Руманов (от Витте—на автомобиле, с запиской сенатора Кузьминского, изобличающей Нейдгардта); интереснейший и таинственнейший человек, с которым жаль расставаться;



какой-то особый (еще непонятно, почему) интерес и острота разговоров с ним на многие и многие темы (Клюев, какие-то еще мужички, Маша Добролюбова, «правительственные» дела, Рерих, Сытин—все вместе).

12 января.

Отвратительное письмо от \* \*.—Люба поздравляет тетю (там говорит с мамой)...

13 января.

Пришла «Русская Мысль» (январь). Печальная, холодная, верная—и всем этим трогательная—заметка Брюсова обо мне. Между строками можно прочесть: «Скучно приятель? Хотел сразу поймать птицу за хвост?» Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется—в чтении, писании, отделявании, получении писем и отвечании на них?—Но—лучше ли, «гулять с кистенем в дремучем лесу».

Сквозь все может просочиться «новая культура» (ужасное слово). И все может стать непроницаемым, тупым. Так у меня теперь.

— Письмо от Васильева-Черникова—диковинного человека...

— Собираюсь (давно) писать автобиографию Венгерову (скучно заниматься этим каждый год). Во всяком случае, надо написать, кроме никому неинтересных и неизбежных сведений, что «есть такой человек» (я), который, как говорит З. Н. Гиппиус, думал больше о правде, чем о счастье. Я искал «удовольствий», но никогда не надеялся на счастье. Оно приходило само, и, приходя, как всегда, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним, оно—не человеческое.

Кстати, по поводу письма \* \*: пора разорвать все эти связи. Все известно заранее, все скучно, не нужно ни одной из сторон. Влюбляется, или даже полюбит—отсюда письма—груда писем, требовательность, застигание всегда

не во-время; она воображает (всякая, всякая), что я всегда хочу перестраивать свою душу на «ее лад». А после известного промежутка — брань. Бабье, какова бы ни была — шестнадцатилетняя девчонка или тридцатилетняя дама. — Женоненавистничество бывает у меня периодически — теперь такой период.

Если бы я писал дневник и прежде, мне не приходилось бы постоянно делать эти скучные справки. Скучно писать и рыться в душе и памяти, так же как скучно делать вырезки из газет. Делаю все это, потому что потом понадобится.

15 января.

Вчера днем корпел над III книгой. Вечером у мамы (она потрясена «Сашкой Жегулевым»), я почти весь вечер разубеждал ее).

Сегодня корпел весь день. Дописал стихи (заключение III книги). Письмо от \* \*, на которое я, по крайней мере сегодня, не отвечаю.

Пишу О. К. Соколовой (в ответ на ее новое напоминание); я могу написать предисловие к ее дневнику (нужно Руманову и всякому издателю); но: предисловие ей может не понравиться. Второе — кто будет сокращать? Третье: кто будет держать корректуры? Прошу ее письменно разрешить мои недоумения. Если она согласна принять участие в издании, я прошу позволить написать предисловие и направить ее «к тому лицу, от которого печатание будет зависеть».

Люба вечером у Ады Корвин (скучает)...

16 января.

9-ая годовщина Соловьевых <sup>75</sup>. Думал и о них и о миллом, бедном Сереже.

Додерживаю корректуры. Пишу благодарность Брюсову за его статью. Письмо от Вяч[еслава Иванова] с предложением чествовать Бальмонта.

Такой же однообразный день, как многие предыдущие. Опустошенная душа. Я должен куда-нибудь уехать, ненадолго переменить жизнь.

Ответ от Соколовой—опять бестолковый и неделовой.

17 января.

... Вчера на ночь читал «Ад» Стриндберга. Сегодня утром—письмо от m-elle \* \*. На-днях было письмо, в котором она зовет меня подлецом. После этого письмо, в котором она «согласна помириться», если я отдам ей все свои стихи (бывшие и будущие). В сегодняшнем—я ни в чем не ошибался в том письме, за которое она меня назвала подлецом.—Если бы я был моложе, на меня все это производило бы сложное впечатление. Теперь производит только впечатление путаницы. Я смотрю (за окном мороз, солнце) на лампу в столовой и сосредоточенно думаю о том, как бы разрешить эту скучную путаницу. Вдруг вижу, что в лампу проникло сознание, на ней фигурки драконов, хотя и довольно добродушных—между резервуаром и колпаком. Так вот как следует, значит, поступать.

Днем... дочитываю «Ад», пишу предисловие к Соколовой.

18 января.

Днем... читаю «Неугасимую лампаду»<sup>76</sup>. ... Вечером—мама—до поздней ночи, разговариваем, все устали.

Утром в «Русском Слове»—о юбилее Стриндберга.

19 января.

\* \* «В одном письме Вы называете меня подлецом в ответ на мое первое несогласное с Вами письмо. В следующем

Вы пишете, что „согласны помириться“. В треть  
Вы пишете, что я „ни в чем не ошибался“ в том письме,  
за которое вы меня назвали подлецом. Только в Вашем  
сегодняшнем письме я читаю, наконец, человеческие слова.  
Но все предыдущие письма отдалили меня от Вас. Если  
бы Вы знали, как я стар и устал от женской ребячливости (а в Ваших последних письмах была только она), то Вы так не писали бы. Вы—ребенок, ужасно мало понимающий в жизни и несерьезно еще относитесь к ней, могу Вам сказать это совершенно так же, как говорят Вам близкие. Больше ничего не могу сказать сейчас, потому что болен и занят. Мог бы сказать, но Вы все равно не услышите или не так поймете, и пока я не буду уверен, что Вы поймете, не скажу (сейчас переписываю и совершенно забыл, что имел в виду).—Для того, чтобы иметь представление о том, как я сейчас (и очень часто) настроен (но не о моих житейских обстоятельствах и отношениях), прочтите трилогию Стриндберга („Исповедь глупца“, „Сын служанки“ и „Ад“).—Я не требую, а прошу у Вас чуткости».

20 января.

Люба была на могиле отца. Только-что поставленный памятник, против ожидания, приличен (грубые, некультурные глыбы—столбы с цепями; медальона, который испортит многое, еще нет). Рядом прислонен бывший деревянный крест, испещренный надписями—излияния химиков: «чудовские химики», «на этой могиле не надо памятника», «gloria aeterna» и т. д. А внизу—«звоните по телефону 40—42, правая кнопка к гимназистке VIII класса».

Сзади—бедная могила Владимира Менделеева (Володи), занесенная снегом; Люба отняла у отца два веночка из елки и положила на нее. Л[юба] принесла несколько красных веночков.

Вечером Люба смотрит на систему Далькроза в Михайловском театре.

... Письмо от Мирол[юбова], вчера от Бори. Дострочил предисловие к бабьему дневнику <sup>77</sup>.

*21 января.*

Неожиданно утром — письмо от Бори, приехавшего с женой...

Весь день (с обедом) у меня мама — хорошие разговоры с ней...

*23 января.*

Письма и переписка предисловия к дневнику Соколовый. Вечером приходил Пяст... Вчера на ночь — увлекательное чтение книги Муратова <sup>78</sup>.

*25 января.*

Мой сегодняшний ответ Боре:

«Милый Боря... Мое письмо разошлось с Тобой, это мне более чем досадно. Если бы я и был здоров, я сейчас не владею собой, мог бы видеть Тебя только совсем отдельно и, особенно, без Вячеслава Иванова, которого я люблю, но от которого далек.

«Вы сейчас обсуждаете журнал <sup>79</sup>. Я менее, чем когда-либо, подготовлен к журналу. Быть сотрудником, прислать статью я могу, но я один, измучен, и особенно боюсь трио (с В. И.). Впрочем, я много боюсь, я — один.

«В письме в Москву я Тебе писал, почему мне страшно увидеться даже с тобой одним, если бы я был здоров. Кроме того, писал, что нахожусь под знаком Стриндберга.

«В осеннем письме, которое Ты не получил, я писал, что мне доступнее всего второй отдел. Он наиболее вне литературы. Я продолжаю писать очень мало, однако;

но и сквозь тяжелое равнодушие, которое мной овладело эти дни, постараюсь написать.

«Потом будет виднее. Главное, что я могу сказать Тебе сейчас — неравнодушно — это о том, что Пяст по-моему нужнейшее лицо в этом журнале. Пишу Тебе сухо по неволе, потому что Ты будешь читать письмо вне моего круга — в доме В. Иванова. Прошу Тебя оставь для меня твой след в Петербурге; это еще причина, по которой я хотел бы, чтобы ты увиделся с Пястом; через него ты коснешься моего круга, что важно нам обоим. Атмосфера В. Иванова для меня сейчас невысказана».

Адрес Пяста.

Любящий Тебя

А. Б.»

Мягкая погода... Вечер. Женя, говорим о дневниках, несколько слов о чахотке (Вера в санатории Халилла). о его болезни (прошедшей), ему нравится, как я разрисовал стену (третьего дня вечером — елку, заяц, еж, слонята, слонячий боже, комета, роза, лодка, орнамент, крабб, рыба, лангуста, медуза — «морской зонтик», — закат солнца в море). Д[люба] вечером смотрит пляски Ады Корвин. После ее (позднего) возвращения разговор с Женей сходит-на нет, расстраиваемся.

Сегодня днем — мама, письмо от тети Софы (о печках) и ей, записка от Марии Павловны.

Тягостно, плохо себя чувствую, пусто, во мне мертвое что-то. Ночью — дикие... и ужасные сны.

26 января.

Сегодня пишу Руманову. Прошу принять Соколову, не назначая определенного дня (потому что ей надо сократить и исправить) и способствовать изданию ее дневника. Она принесет (или я пришлю) мое предисловие.

Также пишу Зноско-Боровскому <sup>80</sup> просьбу попрежнему (или с вычетом из будущего гонорара) присылать «Аполлон».

... Мама третьего дня вдруг стала говорить, что хочет заняться спиритизмом. Я ответил на это, что лучше говеть, например, у Аггеева (если она может) <sup>81</sup>.

27 января.

Письмо дрожащим почерком от поправляющейся (от воспаления легкого) тети Сони. Тетя Лена <sup>82</sup> умерла ударом и уже похоронена. Я даже фамилии ее не знаю; помню все, что с ней связано для меня: ворчба на нее тети Сони («она была тосклива», — пишет она). Бесконечные анекдоты Сережи («нет, Соня, у меня сэм»). Декламация Расина. Послание Тютчевым.

Чтобы ехать к вам в Мураново  
Нужно быть одетой заново,  
У меня ж на целый год  
Старый ваточный капот.  
Так меня к себе уж лучше вы  
Не зовите в гости, Тютчевы.

Корреспонденция в «Русском Слове» о гонениях на Л. Семенова. В «Речи» — известие об отставке («по болезни») В. И. Гишпиуса.

К обеду пришла мама от Наука <sup>83</sup>, который сказал ей, что сердце ее за два года улучшилось (санатория, какова бы она ни была, помогает), но исключительно сильно малокровие (прописал новое средство).

Разговоры, болтовня. С Любой играем в дураки и в Акульки. Тоска смертная, к ночи, скверный сон.

29 января.

В воскресенье — у мамы с Ф[ранцем Феликсовичем] — гости (празднуют рождение). Тоскую... Заходил Горо-

децкий (не принял)... 2-я корректура III книги (из «Песни ада» негодны потеряли 2 страницы, придется переверстывать снова!) Вечер. Уют — наклеиваем картинки вдвоем.

*30 января.*

Картинки спасают от тоски... Первое большое солнце и настоящий закат. Несказанное. Люба на выставке «Мир Искусства». Приходили: бедняжка \* \*, а вечером — Ивановы (А. П. и Е. А.). Никого не приняли. Сегодня, вероятно, уехал Боря.

*31 января.*

...Карты, картинки. Днем мама. Опять заходили Ивановы — известие о смерти Магдалины Михайловны Латкиной<sup>84</sup> (мама и тетя на панихиде). На ночь читал очень интересный роман Брюсова<sup>85</sup>.

*1 февраля.*

...Корректура III книги, примечания. Кончен альбом (флам., голл. и немец.).

*2 февраля.*

Пушкин в «Русском Слове». Совсем, как маленького мальчика, его, раненого, выносят из кареты. У Дантеса — все приклеенное, этот светский мерзавец в старости стал еще мерзее — похож на ряженого шарлатана.

Пишу Соколовой, чтобы она отнесла дневник вместе с моим предисловием Руманову (письмо от него).

Днем мама, солище, принесла буше. Люба у Адды Корвин.

Вечером мы с Любой вдруг пошли в цирк, видели и Дурова и многое другое — интересное.

*3 февраля.*

Соколова взяла свой дневник с моим предисловием и письмом.



День мрачен. Вопящий пьяный парень, резкий ветер, беднота в трамвае, нет солнца, вялость, утомление, досадная корректура с враньем.

*4 февраля.*

Днем мама, вечером приходил (и не был принят) с кем-то \* \*. Однообразие, апатия, забыл, что есть люди на свете...

*15 февраля.*

Скончался В. П. Далматов <sup>86</sup>.

*26 февраля.*

В середине декабря норвежец Амундсен достиг южного полюса.

Все это время бедно событиями...

24-го весь день провел с Борей (у Лейнера). Облик Бори, впечатление от него и от его слов. Очень важное сообщение.

Письма, несколько стихотворений. Покончено с картинками. Поэма — ни с места. Ненависть и боязнь людей... Убийственные морозы и их конец... Борьба в цирке. Чтение Стриндберга (на-днях докупил недостававшие восемь томов). Теперь (вслед за «Адом») — «Легенды».

Сегодня гулянье около полотна Финляндской жел. дор. Две новые газеты: первая — «Воскресная Вечерняя» (2 коп.), с Куприным и пр. определенная желтая пресса, конечно, к сожалению, опять лезет туда \* \* — уж тут, как тут!

Вторая — новая для меня, на самом же деле ежедневно конфискуемая и от этого имеющая еще больший успех — с.-д. «Звезда». Отраднo после консерватизма органов — «Речи» и «Русского Слова» (которое, может быть, превратится в прогрессивный орган, если приобретет

определенную физиономию, — чью, вопрос?). Все здесь ясно, просто и отчетливо (потому — талантливо) — пожалуй, иногда слишком просто.

28 февраля.

Вчера обедала мама, разговор сначала тяжелый, потом — хороший. Ночью я провожал ее на извозчике через Троицкий мост по снегу. Ей стало нравиться у нас в квартире — в большей степени от улучшения отношения Л[юбы].

Сегодня днем — книги у букиниста (большой французский словарь истории и географии и Аполлодор). Вечерние прогулки (возобновляющиеся, давно не испытанные) по мрачным местам, где хулиганы бьют фонари, пристаёт щенок, тусклые окна с занавесочками. Девочка идет, точно лошадь тяжело дышит: очевидно, чахотка: она давится от глухого кашля, через несколько шагов наклоняется...

Страшный мир.

2 марта.

Все еще не могу поправиться... Цынга оказалась «гингивитом» (!) — местное (десны) — никогда больше не есть мяса (!).

Вчера у мамы, которая признала мою правоту (относительно «истребителей»). Дни у букинистов — дрянное племя: от циничной глупости и грубости маленькой лавчонки — до сумасшедшего г-на Соловьева (букиниста), желающего показать, что русские двадцатые (и другие) годы были «возрождением» (!!!), — печатающего свой «Русский Библиофил» с сумасшедшей роскошью, которую порождает только реакция, — шаг небольшой.

Подумываю о поэме. Дни почти без событий и без писем.

3 марта.

Вчера вечером — Пяст (третья «пятница»). Ему тяжело, он говорит о распыленности, много о себе. А сегодня

утром — уже частичный ответ на наши вчерашние речи — фельетон М. Горького в «Русском Слове»<sup>87</sup>. Заметочка в «Русском Слове», что «Русская Мысль» переселяется с лета в Петербург (где «живет большинство сотрудников и Струве»).

*4 марта.*

Спасибо Горькому и даже — «Звезде». После эстетизмов, футуристов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим. Так или иначе, при всей нашей слабости и безмолвии подкрадыванье двенадцатого года к событиям отмечается опять — таки в литературе.

Днем — пишу поэму. Вечер — после прогулки к маме, где Люба. «Скандалы» этих дней на улицах (я — свидетель «необходимый») — так называемые скандалы, а по существу — настоящие проявления жизни, случайно вышедшие на улицу (хулиганы, бьющие фонари и друг друга, пьяный в трамвае, муж и жена на Большом проспекте — главной улице современного Петербурга, — ибо Невский потерял свое значение).

*5 марта.*

Сегодня — доклад Жени в р[елиг.] ф[илос.] о[бществе], на который, кажется, таки пойду. Но 11 марта в заседании «старичков», чествующих Бальмонта, где упоминается мое имя, не буду участвовать: нездоров все еще; не нужно никому; противно профессорье; устраивается «по приглашению» и т. д. — т. е. ни для кого, для никого<sup>88</sup>.

*15 марта.*

Произошло много важных событий. Болезнь тети. Дебют Любы в Народном Доме. Остального не записываю — все мельче.

*18 марта.*

Вчера вечером скончалась Анна Павловна Филоsofoва<sup>89</sup>.

Вчера мы с Пястом ездили на лихаче и пили в Яре. Я думал, что он заболел серьезно, оказалось, напротив, ему лучше. Я думаю оттого, что в это ужасное время все сходит на-нет, жизнь пробует, как бы кого ухватить за горло.

У Л. завтра дебют в Василеостровском театре... Будут две Лизы (в «Горе от ума»).

Третьего дня полдня провела у меня Ангелина. И у нее события. Ее подруга \* \* \* живет у них, после того как в часовне Спасителя упала в ноги случайно приехавшему царю и сказала ему: «Царь-батюшка, помилуй святителя». — «Какого?» — спросил царь. — «Гермогена». Едва он уехал, шесть сыщиков ухватили ее и стащили в участок. Прдержали там недолго — часа три. Г-жа \* \* \* — «курсистка» (т. е. Женского педагогического института). «Скоро, скоро», — ответил царь и велел ее не трогать.

У Ангелины так теперь: «преосвященный Гермоген» подлинная церковь, тот круг (из образующих новую церковь), к которому «примкнула» она. Гермоген — вполне свят. Илиодор («отец») меньше, но и он. Распутин — враг. Распутин — примыкает к хлыстам. С точки зрения г-жи \* \* \* — Мережковский — тонкое хлыстовство.

Итак: «православнейшие оплоты» — и те покинули синод и Саблера. Смотри на все это жестко и сухо, я, проезжая на извозчике по одной из самых непристойных улиц — Сергиевской, думаю: вот и здесь, и здесь — тоже «недовольны», тоже горячо обсуждают, с кем быть, с синодом или с Гермогеном.

Г-жа \* \* \* приводит в ужас мать Ангелины тем, что не ест, спит на полу, и т. д. Глупая девчонка, которая живет у них же, стала уважать г-жу \* \* \* после разговоров с царем.

Г-жа \* \* \* — воплощение деятельности. Изнывает в «мирных» (курсовых делах) и вечно стремится к «делу». Ве-

роятно—сильная магией. Показательно то, что магия может уже действовать на самое неподвижное, что есть в мире (т. е. — православная гувернантка из военной семьи, притом не чисто русского происхождения).

19 марта.

Дебют Любы (закрытый) в Василеостровском театре.

В дело г-жи \* \* \* вовлечена также роковой силою вещей (темная душа отца, темнота происхождения и умственного уровня матери—классной дамы) моя сестра. Сейчас картина «дела»: она «формируется» в двух кругах: 1) Салоны—графиня Игнатьева, кареты, политиканство, всяческая грязь и нечисть. 2) Темные буржуазно-приказчицы гувернантские слои, где «смирение» пахнет погромом во славу божию. Т. е. давняя, хорошо разделанная почва для российской истерики. Народ безмолвствует.

Генеалогия m-me Блок<sup>90</sup>: военная, серенькая либерально-бездарная среда (артиллерия—то место, где «военный-штатский» всю жизнь колеблется между правостью и левостью); происхождение—частью английское (т. е. подонки Англии, русские гувернеры, великая сухость и безжалостность души, соединенное с русским малокровием).

Эта крошечная фигурка обладает упрямством, может быть, действительным. По крайней мере, недаром в этой квартире спит на полу г-жа \* \* \* и произносит погромные речи казаковатый брат Илиодора.

Нет, отсюда нельзя ждать ничего, кроме тихого начала, а потом кровавого ужаса. Последние цели Гермогена (или тех, кто им движет, если уж сам он действительно—«божия коровка», которая по христианской легкости портит себе карьеру и страдает—т. е., не лучше ли сказать,—созидает себе карьеру ценою того, что трусливый Саблер, пресмыкаясь от ужаса, вынимает вьюшку из его

печки—был такой факт)—опрокинуть тьму XVII столетия на молодой, славно начавшийся и измучившийся с первых шагов XX век.

Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» («экономической») культуры, чем ужас призраков—времен отошедших; самый светлый человек может пасть мертвым перед неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас реальности. Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете.

Если Ангелина может ковать свою жизнь (а может ли женщина?), то спасение ей из лап все того же многоликого чудовища—естественный факультет Высших женских курсов. Из огня нужно бросаться в воду, чтобы только потушить тлеющее платье, чтобы протрезвиться. Сам бог поможет потом увидеть ясное холодное и хрустальное небо и его зарю. Из черной копоти и красного огня—этого неба и этой зари не увидеть.

А может быть, все равно, к восстановлению патриаршества или нет, подкрадывается 1912 год? И там, не только в синодальной церкви, бога уже нет.—«Глас хлада тонка».

Днем—я на панихиде по А. П. Философовой (опять звероголосование попов), встретил на улице Ремизова, потом с тетей у мамы. К обеду—домой. Люба говорит (уверяет), что провалилась на дебюте. Получит письмо.

Книга новых стихов от Брюсова<sup>91</sup> (отозвалось прежней сладостью и болью).

20 марта.

Оттого ли, что стихи мои появились в «Знании» и будут в «Заветах»,—только последние дни замечается приток разных присылаемых мне сборников стихов (Ада Чумаченко, Шульговский, Мейснер...). Как все-таки люди держат постоянно нос по ветру.

Вчера вечером передо мной пьяный на Большом проспекте на всем ходу соскочил с трамвая, но не вниз (как трезвые), а вверх (как пьяные). Оттого, как упал, так и остался лежать—и струйка крови текла по лбу. Еще жив, кажется.

*24 марта. Страстная суббота.*

Собирают мнения писателей о самоубийцах. Эти мнения будут читать люди, которые нисколько не собираются кончать жизнь. Прочтут мнение о самоубийстве, потом—телеграмму о том, что где-нибудь кто-нибудь повешен, а где-нибудь какой-нибудь министр покидает свой пост и т. д. и т. д., а потом, не руководствуясь ни тем, ни другим, ни третьим—пойдут по житейским делам, какие кому назначены.

В самом деле, почему живые интересуются кончающими с жизнью? Большой частью по причинам изменным (любопытство, стремление потешить свою праздность, удовольствие от того, что у других еще хуже, чем у тебя, и т. п.). В большинстве случаев люди живут настоящим, т. е. ничем не живут, а так—существуют. Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее, знают, что десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми этими причинами стоит, одна, большинству живых не видная, непонятная и неинтересная. Если я скажу, что думаю, т. е. что причину эту можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шею; а «деловые люди» только лишний раз посмеются; но все-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки.

— Так я и пошлю глупому мальчишке-корреспонденту «Русского Слова», если он спросит еще раз по телефону, который третьего дня 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа болтал у меня, то пошло, то излагая откровенно, как он сам вешался; все—легкомысленно, легко, никчемно, жутко—и интересно для меня, запрятавшегося от людей, у которого голова тяжелее всего тела, болит от приливов крови—вино и мысли.

Вечером третьего дня пришел Пяст. С ним—главное, о том что делать. «Как тонкая игла сквозь студенистую массу». Да, сквозь все «фальшивые купоны» (Толстой) проходить можно только собственной тяжестью, весом.

Потом мы с Любой поехали к Ремизовым (Л. получила отказ от общества трезвости <sup>92</sup>, у Ремизовых говорит с Зоновым о Незлобинском театре). А[лексей] М[ихайлович] сообщил еще много нового о Гермогене и Распутине—все больше выясняется, становится, наконец, понятным—после газетного вздора. Все дело не в том, что Гермоген «разворовал монастырь» и прочее не жизненное, а в том, что Гермоген (и Распутин)—действительно крупное... бескорыстное. Корысть—не их. Корысть—в океане мистики, который захлестнул и их, и двор, и все высшие классы. Если исход из этого—только столь же ненужное «патриаршество», то это—еще с полбеды.

А. М. убеждает писать балет (для Глазунова, который любит провансальских трубадуров XIV—XV в. !?)—либретто <sup>93</sup>. На третий день Пасхи будем говорить у Ремизова с Терещенкой (киевский миллионер, «чиновник особых поручений», при «директоре императорских театров», простой, по словам Р[емизова], и хороший молодой человек). Письмо от \* \*.

Вчера: груда книг («Труды и Дни»—№ 1—пока сомневаюсь. От Балтрушайтиса—сборник <sup>94</sup>; журналы). Послание в стихах от Вл. Гишпиуса.



Ночью — кошмар, кричу. Темные, черные эти «страстные» ночи, а с каждым годом — труднее они, и «праздники». Холодно.

Вчера около дома на Каменноостровском дворники издевались над раненой крысой. Крысу должно быть схватила за голову кошка или собака. Крыса то побежит и попробует зарыться под комочек снега, то упадет на бок. Немножко крови за ней остается. Уйти некуда. Воображаю ее глаза. То же, что тот человек, упавший, прыгая с трамвая, только жальче, потому что беспомощней. На эту крысу иногда бывает похож \* \*. Был похож, вероятно, особенно тогда, когда полночи носил на руках \* \* и баюкал, а потом выбежал с пожара в одном белье, и швейка накинула ему на плечи шелковую кофточку (мороз 22 градуса и ночь в провинции)... — Все ходит, и сейчас пришел тот «литературный нищий». Все это — одно, одно: пасхальное, «святая пасха», Господи, боже мой!

Наконец, прислали три экземпляра «Снежной ночи». Снес ее маме. К 12-ти пошел к Петру <sup>95</sup>, встретил там Пяста. Мороз, черные толпы, полиция, умирающие архиереи тащатся, шатаясь, по мосткам, между двумя шпалерами конных жандармов. Все время слышна команда. Петр и собор в белых снежных пятнах, пронзительный ветер, Нева вся во льду, кроме черной полыньи вдоль берега — тяжелая, густая вода. — Вернулся к Любе «разговляться».

25 марта.

Обед. У мамы — милый Е. О. Романовский, которого я не видал девять лет. Гушин. Остальное — не стоит. Тяжело и скучно.

26 марта.

Днем — острова, очаровательная мещанка в конке. Возвращаюсь — \* \* (рассказы о Витте и т. д. — страшно, что

делается с \* \*). Вечер — Художественный театр: Тургеневский спектакль (в маминой ложе): раздирающий «Нахлебник» (беспросветно; вечное: все люди делятся...; непригодные — нахлебники). Из актеров — вполне настоящий один Станиславский (в «Провинциалке»). Остальные нигде не поражают (Артем очень хорош. Качалов делает глазки, от него уже пахнет «jeune première»...). — Руманов рассказывает о мерзости, произведенной на границе с только что вернувшимися Мережковскими <sup>96</sup>. Д[митрий] С[ергеевич] успел спросить его, вышло ли что с Блоком? Узнав, что все еще ничего — огорчился.

Преобладающее чувство этих дней — все растущая злоба.

29 марта.

27-го — «Живой труп». Все — актеры, единственные и прекрасные, но — актеры. Один Станиславский — опять и актер и человек, чудесное соединение жизни и искусства. А цыгане — разве это цыгане? Нет, цыгане не таковы. После спектакля я у Ремизова — разговор с Терещенкой о балете для Глазунова. О самоубийстве — мы с Ремизовым поняли друг друга. Как же это писать в «Русское Слово»?

28-го — днем у мамы — хороший разговор. Вечером — цирк и прочее.

Сегодня отвечаю \* \*, что: «все не так, слова ее покров, не знаю, над чем. Мир прекрасен и в отчаянии — противоречия в этом нет. Жить надо и говорить надо так, чтобы равнодействующая жизни была истовая цыганская, соединение гармонии и буйства, и порядка, и беспорядка. Иначе — пропадешь. Душа моя подражает цыганской, и буйству и гармонии ее вместе, и я пою тоже в каком-то хору, из которого не уйду».

30 марта.

Сочиняю балет, почти ничего о трубадурах не нахожу у букинистов. Кухарка больна, сами все делаем. Вечером — мама, тетя и Женя.

1 апреля.

А. В. Руманов — совершенно растерзанный, с переменами в жизни; все очень хорошо. Два письма от \* \* \* и мой ответ с Николаевского вокзала.

5 апреля.

Эти дни: «Гамлет» в Художественном театре (плохо). Письмо от \* \*, боюсь за нее. Вчера в «Тропинке» с мамой. Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня, несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело.

6 апреля.

Почти жарко днем, душно в квартире. В первый раз — легкое пальто и палка — особая страна. Ночью — тяжелые сны и думы. В 5 ч. дня приехал Терещенко с Ремизовым в автомобиле, ездили на Стрелку, потом А[лексей] М[ихайлович] обедал, вечером пришел Женя, с которым мы говорили путанно, но не трудно... Вечером я проводил его до трамвая, воздух отрадно прохладен, звезды, тихо, и на сердце тише.

От \* \* \* — письмо тише. Все-таки боюсь за нее, опасно с ней.

9 апреля.

Сегодня я получил 90 экземпляров «Снежной ночи». Обедал Д. В. Философов, рассказал все трудное положение их. Хорошо говорили.

10 апреля.

Утром \* \* \* — хорошая, милая, но актриса и болтушка. В 5 ч. приехал Терещенко, катал нас с Ремизовым по

островам, потом обедали у нас. Л[юба] пошла к своим, а я отвез А[лексея] М[ихайловича] домой, а сам приехал к Пясту, с которым проговорили до 3-го часа ночи — тяжело. Я устал страшно.

*11 апреля.*

Сегодня весь день телефонные недоразумения с Терещенко. Глазунов не мог принять, назначил завтра. Вечером я пошел в тоске пить, но в ресторане сидел милый Сапунов <sup>97</sup>. Так и проговорили с ним — было скучно и ему и мне. Он придет скоро обедать, хочет меня рисовать.

Какая тоска — почти до слез. Ночь — на широкой набережной Невы около Университета; чуть видный среди камней ребенок, мальчик. Мать («простая») взяла его на руки, он обхватил ручонками ее за шею — пугливо. Страшный, несчастный город, где ребенок теряется, сжимает горло слезами.

*13 апреля.*

Протрезвление после вчерашнего пьянства. Поздно вечером пришел Пяст, опять необходимые и хорошие, слава богу, речи. Завтра он едет в Стокгольм, где Стриндберг, может быть, умирает (рак в желудке).

*17 апреля.*

Эти дни — много книг, писем и разговоров. Терещенко, который с каждым разом мне больше нравится, Ремизов, Е. Е. Соловьева (приглашала на литературный вечер), А. Мазурова, у мамы — П. С. Соловьева и Латкин.

Наконец, отвечаю Боре о «Трудах и Днях». Первый № сразу заведен так, чтобы говорить об искусстве и школе искусства, а не о человеке и художнике. Этим обязаны мы Вячеславу Иванову. Мне ли не знать его глубин и прав личных? Но мне больно, когда он между строк полемизирует (вспоминаю Твои слова о полемике) с... Гу-

милевым \*; когда он восклицает о *καδαρισ'ε* тем же тоном в 1912 году, как в 1905; и особенно, когда он тащит за собой Кузьмина, который на наших пирах не бывал...

Какие-то «кони, стонущие с нежным ржанием», — ведь это мерзость.

Впечатления от статьи В. И[ванова] <sup>98</sup>, несмотря на все ее глубины, — душное и тяжелое. Твоя статья, в большей части посвященная ограничению значения «символической школы», которую Вячеслав проповедует упорно и, я сказал бы, без музыкального слуха (помнишь, ты говорил об отсутствии музыкального слуха у Мережковского? — Рядом с этой статьей В. И., — и фельетон Мережковского — симфония). — Твоя статья производит впечатление форточки, открытой в накуренной комнате; но форточки узкой, почему и Ты говоришь, закрыв лицо. Ведь для вочеловечения сходимся мы в «Трудах и Днях», а все, что есть пока в первом отделе, могло бы быть и в «Аполлоне» (№№ В. Иванова; над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях, он с приятностью громыхнул жестяным листом, — только так я слышу это режущее мне ухо восклицание о *καδαρισ'ε*. И потому бросаюсь я от этого жестяного грохота к умной и страстной статье Метнера — пускай на тему, далекую мне: за ней я вижу это печальное человеческое лицо, гонимого судьбой. Оттого-то я сам хочу говорить о Стриндберге (кстати, Пяст пишет об Э. По, главным образом, кажется, опираясь на *ζῶρηκα* и биографию).

---

\* Не из письма: утверждение Гумилева, что «слово должно значить только то, что оно значит», как утверждение — глупо, но понятно психологически, как бунт против Вячеслава Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом. (Сноска Ал. Блока).

Всю кашу заварил В. Иванов; можно повернуть оптимистически и сказать: Вячеслав Иванов, грозно нападая на кого-то, потрясает манифестом о символической школе, — и горе тому, кто не с ней; Ты всячески стараешься свести эту «школу» к *minimum*'у; она, в конце концов, только «внутренний канон»; наконец, Пяст объясняет, что внутренних канон есть  $\dots 2 \times 2 = 4$ . Завершив, наконец, как бы по необходимости, этот круг, созданный не потребностями «Мусажета», но ивановским желанием властвовать над какой-то страной во что бы то ни стало даже при отсутствии подданных, — «Труды и Дни» переходят к делу в статье Метнера; здесь появляются имена, а лица освещаются вспышками человеческого духа, при свете которых открываются глубины времени; это и есть, я сказал бы, немеркнувший свет «общих начал», в котором мы все, разные, — одно, которые связуют нас так, как не свяжет никакая «символическая школа» в мире.

Раз «Труды и Дни» — «внутренний двор казармы», из ворот которых должны выйти готовые к бою солдаты — это стезя мужественная; а у В. И[ванова] надо, кажется, понять это ясно, душа женственная; и деспотизм его — женский (о личных отношениях к нему — «роман», а не дружба, не любовь).

Соображения попутные (не из письма): В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. «Символическая школа» — мутная вода. Связи quasi-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы („Новый Путь“, „Весы,“) боролись с умирающим плоско-либеральным псевдо-реализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. Для того, чтобы принимать участие в «жизнетворчестве» (это сукон-

ное слово упоминается в слове от редакции «Трудов и Дней»), надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы. Мы — русские.

Письмо от Городецкого. Письмо Боре, Миролюбову. Вечером — Руманов, и живой с ним разговор о его делах человеческих сначала, а потом о газете (будущей), на которую он возлагает особые надежды.

18 апреля.

Весь день дома, ночью простудился от форточки, в эти холода (ладожский лед) опять проклятая квартира стала нестерпима. Ноты от Гартевельда. Письмо от Терещенки, который тоже простужен и не может сегодня кататься с нами. Вечером жду маму. Она приехала с Францем.

21 апреля.

Страшный насморк, охрип, едва читаю на вечере в Петровском училище. Посматривал на \* \* — странный. Много милого, кой-что неприятное, в общем — ни к чему. Письма, люди.

22 апреля.

Днем — Гюнтер. Вечером — Женя и \* \*. Я измучен.

23 апреля.

Днем у мамы. Вечером — Княжнин, до поздней ночи, много хорошего.

25 апреля.

Обедал и весь вечер провел у меня Б. А. Садовской.

26 апреля.

Утром пришла Ангелина, потом — ее мать. С Ангелиной мне было хорошо. Потом пришла мама, обедала — хорошо.

1 мая.

Много людей, писем и выпитого вина за эти дни. На днях у мамы — вечер с Поликсеной Сергеевной, которая собирается в Шахматово, и с Натальей Ивановной Манашиной. — Вчера мама обедала, потом приехал М. И. Терещенко и А. М. Ремизов. Катались на Стрелку и говорили о театральной школе, пантомиме, Станиславском. Потом Терещенко привез нас домой, А. М. рассказывал нам свой прекрасный балет. Вечером мама еще не ушла, — пришел Пяст, приехавший из Стокгольма, привез мне портрет Стриндберга и подробные рассказы о его дочерях и зятях.

Мысли печальные, все ближайшие люди на границе безумия, как-то больны и расшатаны, хуже времени нет. Боязнь за Женю.

Все еще холодно, есть лед на Неве, в Сестрорецком курорте слабые почки на сирени, в Петербурге трава пошла сильно только вчера, сегодня опять — холодный и мокрый туман.

3 мая.

1-го мая (по русскому стилю) в 4 часа 30 минут дня Август Стриндберг скончался.

В этот день я весь день работал, а вечером был в цирке на борьбе. Шел проливной дождь — весь день. — В городе происходили рабочие демонстрации.

Вчера — веселый день, настоящая весна, мое гуляние. Пришел 1 № «Заветов» (уже конфискованы).

Сегодня утром пришел Пяст, читал свою стокгольмскую статью, после завтрака пришел Женя. К 4-м часам должен был быть у Терещенки с Глазуновым, но Глазунов в последнюю минуту опять отменил.

В 5-ом часу приехал Терещенко и Ремизов, отвезли меня к Терещенке, там сидели мы, я вяло и нудно, как почти все, что теперь делаю и чувствую, изложил канву



своего балета. Терещенко дал несколько хороших советов: вместо «злодея» должен быть умный и смешной человек, который не «отсюда», он, родившийся на юге, ненавидит его вечного праздника и молодости и красоты *châtelaine* и связан с северным рыцарем нитями «дружескими» (мое)... (?)

*Châtelaine* слушает возникающую постепенно в ее памяти любимую ноту рыцаря, которого она ждет и зовет, и которая звучит полностью только с его прибытием...

После тяжелого впечатления (но милый и хороший М. И. Терещенко, тяжесть лежит во мне) — я проводил А. М. Ремизова домой и все в том же автомобиле, пышном и неудобном, приехал с Таврической обедать к маме. Провели вечер все вместе с тетей и с Феродем<sup>99</sup>, вернулись поздно домой, озябли, устали, жить трудно. Днем было жарко, а ночь опять холодная.

Люба учит, что теперь надо работать, «корпеть», уже ничто не дастся «даром», как давалось прежде. Правда, попробую, попытаюсь; А. М. Ремизов такой желтый, замученный. И все так. Маме тяжело, тетя усталая, всем. Пройдет, пройдет (ли) это время. Все несчастны — и бедные и богатые. Беллетристика «Заветов» посвящена описанию мучений человека — многообразных.

4 мая.

Утром — большое письмо от Бори (о Штейнере). Днем — «*Cor ardens*» от Вячеслава Иванова с надписью в стихах. Обед. И. А. Новиков<sup>100</sup> — милые речи.

10 мая.

Вчера снес я в «Современник» статью о Стриндберге, которую писал эти дни, и стихотворение. Садовской познакомил с Ляцким<sup>101</sup>. Непривычка к людям, мелкие неприятности, впрочем, очень мелкие. Пустыня редакции. Я начал было говорить Ляцкому вещи, явно обличающие

то, что я спутал его с Лемке! По существу, ведь это не очень несправедливо. На моем упоминании о журнале «Книга», когда я уже почувствовал крайнюю неловкость (и он тоже..., а у меня зашел ум за разум...), к счастью моему, секретарь отвлек его деловым разговором.

Иду безуспешно квартиру. Бываю у мамы. Пью...

17 мая.

Много событий за эту неделю. Ездили на автомобиле с мамой и Фр[андем] в день «Корсо» на Елагином острове. Обедали у Аничковых с Ремизовыми. Аничков дал мне много полезных указаний и книг. Нашли квартиру. Люба уезжает на-днях — в Териоки \*.

Этот отравившийся — маленький актер (Боровский) из любинной труппы. Работается лучше (опера, Стриндберг). Сегодня жду Пяста. Жара сменилась свежестью, черемуха цветет. — С Пястом очень хороший вечер. Сначала — о Териокском театре, где он будет принимать участие, о том, о сем. После чаю — чтение бориного письма, — о Штейнере.

17 мая.

День упадка сил. Трудно приняться за работу. Вечером была у меня Ангелина, оба мы устали, ночью я проводил ее пешком до дому: серо-синяя ночь после дождя.

19 мая.

Днем приходил Мгебров <sup>102</sup>, долго мы с ним говорили, а обедал я у Философова, сначала было хорошо, а потом мы провели длинный и тягостный вечер, бродя по Троиц-

---

\* (Вклеена вырезка из газеты: «16 мая днем, в доме 40 по Боровой улице отравился провинциальный артист Михаил Сивко, 24 л., приехавший в Петербург с целью найти себе службу. Причина покушения на самоубийство еще не выяснена»).

кому мосту и прочим пустыням и не зная о чем говорить.

21 мая.

Обедали у мамы с Женей и Т. Н. Гиппиус<sup>103</sup>. Прислуги у нас опять нет. Новое письмо от Бори (о Докторе — с большой буквы<sup>104</sup>).

22 мая.

Ужас после более или менее удачной работы: прислуга. Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно-ужасное. Лицом — девка, как девка и вдруг — гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего — смешение человеческой породы с неизвестными и низшими формами (в мужчинах это бывает вообще, вот почему в Шахматово<sup>105</sup> тоже не могу ехать). Можно снести всякий сифилис в человеческой форме; нельзя снести такого, что я сейчас видел так же, как, например, генерала с исключительно жирным затылком (Конопляников). То и другое — одинаковое вырождение, внушающее страх — тем, что человеческое связано с неизвестным.

Жена моя, актриса, этого не понимает и не хочет знать. В маминой прислуге есть тоже нечто ужасное.

Придется сегодня где-нибудь есть, что, увы, сопровождается у меня пьянством.

Так, совершенно последовательно, мстит за себя нарождающаяся демократия: или неприступные цены, воровство, наглость, безделье; или забитые существа неизвестных пород. Середины все меньше, вопрос о «прислуге» «обостряется», т. е. прислуги не будет, просто, и, чем больше у нас потребностей, тем больше их удовлетворять придется... самим.

Мои «эгоистические» наблюдения. Да, я очень «занят собой». Ничего не поделаете.

Найти выход из западни сейчас. Повидимому, покинуть квартиру, которая в течение двух лет постепенно заселялась существами, сначала — клопами и тараканами, потом — этим...

28 мал.

Сегодня ночью, наконец, накануне отъезда Любы несказанный сон, в котором первый раз связаны Люба и мама. Сон хватания за убегающую жизнь, боязнь жизни вообще, мучения и унижения последних дней, страшная тяжесть, но за ней — нескazanное и важное.

Почти нельзя описать: Франц выписывает из-за границы какого-то «запрещенного» пана, и мы с мамой (или с Любой?) везем его ночью по трясучим проселкам куда-то сюда. Впереди нас на низких санках сидит не то сам этот пан, не то возница, старенький старичок, еле везет, попадает во все ухабы и вывихивает нервы, так что я бью его палкой; после этого сидящая рядом со мной (не то Люба, не то мама) ударяет его тоже палкой по голове, так что он пригибается, а я кричу с иступлением отчаяния и с восторгом жалости: — Не смей бить старика! — Потом мы приезжаем к какому-то огорку, выходит Франц и что-то кричит, чего пан должен слушаться.

Сон, смятенный с вихрем каких-то других, посторонних; наиболее ясно только то, что я написал: жалость и юность — обе раздражающие. Ночь, возок, пустыня, «страшно» (потому что пусто) и со мной — мать и жена — в одной.

После нескольких дней бесприслужья — какая-то девочка, умеющая сносно готовить, будущая горничная Мережковских (от Таты).

Вчера вечером мы вчетвером (Люба, мама, Франц и я) — в «Аквариуме».

Люба все эти дни носилась и хлопотала.

Сегодня бестактная заметка в «Речи» о териокском предприятии, где пропущены Веригина, Мгебров и др., настоящие актеры, а упомянуты Мейерхольд, Кульбин, Пронин, я (!) и Люба. Кто давал заметку? — Любе она неприятна. И с какой стати упоминать ее, ничего еще не сделавшую? Да еще в качестве «жены поэта».

...Переменилось много в духе предприятия, как мне кажется. Вначале они хотели большого идейного дела, учиться и т. д. Но не знали, были впотьмах, бродили ощупью. Понемногу стали присоединяться предприимчивые модернисты, и, как всюду теперь, оказались и талантливыми и находчивыми, быстро наложили свою руку и... вместо большого дела, традиционного, на которое никто не способен, возникло талантливое декадентское маленькое дело. Тут нашлись и руки и пафос. Речи были о Шекспире и идеях, дело пошло прежде всего о мейерхольдовских пантомимах, Кузьмин с Сапуновым сватают Кроммелинков и т. д., — до чего дойдет, посмотрим, не хочу осуждать сразу.

К вечеру. В 4.30 Люба уехала. Я с великой тяжестью провожал ее на вокзал (тут же — Мейерхольды и А. П. Иванов)...

С вокзала поехал к маме обедать, там обедал Женя, потом пришел Е. О. Романовский. В 10-м часу я ушел, в Мойке баграми шарили утопившегося, так и не нашли, бросили, городской сказал — сам всплывет.

Печальное, печальное возвращение домой. Маленький белый такс с красными глазками на столе грустит отчаянно. Боюсь жизни, улицы, всего, страшно остаться одному, а еще и мама уедет.

*30 мал.*

Вчера — работал небезуспешно, обедал у мамы, простился с ней (тягостно, тягостно). Сегодня не буду провожать

ее на вокзал \*, вечером поеду с Пястом в Царское Село — кататься с Женей втроем на велосипеде \*\*.

Что я (литература) делал и писал в 1912 году до июня (кроме мелких стихов).

1) Автобиография Венгеру — не дописано (в январе).

2) Предисловие к дневнику Соколовой (в январе) — не напечатано (2 экз. на пишущей машине — 1 экз. у Руманова) сюда же относятся наброски впечатлений от самой Соколовой.

3) От Ибсена к Стриндбергу (апрель). «Труды и Дни» № 2 (май).

4) Памяти Стриндберга — (май) — «Современник» № 5 (май).

5) Опера (сначала — балет) — апрель, май и т. д.

6) Корректуры и примечания (февраль, март) к «Снежной ночи».

7) Составление книжечек детских стихов для Сытина.

Что должно быть сделано:

Опера (Балет?) (Поэма!..)

Стриндберг — для «Трудов и Дней» (к августу).

Новое издание «Театра» (с «Песней судьбы»).

В. Новая петербургская газета (Сытина). Судьба «Действа о Теофиле»...

План (давн.): Грибоедов (моя работа о нем — у Венгерова <sup>106</sup>). Заметки в записной книжке).

---

\* Напротив, проводил, слава богу, господь ее храни. (Сноска Ал. Блока).

\*\* Разумеется, не состоится; а мы все гуляли в Петергофе — хорошо. Мы с П[ястом] приехали по жел. дор., а Ж[еня] на велосипеде из Царского. (Сноска Ал. Блока).

1 июня.

Вчера — письмо от Любы и работа. Сегодня письмо от мамы (с «Подсолнечной»<sup>107</sup>), некоторая работа. Днем Руманов (о детских книжках, о Мережковских, о катании «Биржевых Ведомостей» «по Сене», о Ясинском).

2 июня.

Вечером — у Ремизова — хорошо.

3 июня.

Весь день составлял детские книжки для Сытина. К вечеру поехал на открытие спектаклей в Териоках. Оно, оказывается, опять отложено. Их дача, парк и море. Богема. Репетиция. Много хорошего. Посмотрим...

4 июня.

Люба опять поехала.

Устраивая (стараясь...) дела А. М. Ремизова, которому нужны эти несчастные 600 рублей на лечение и отдых, притом заработанные, начинаю злиться.

Руманов — я уже записываю это — систематически надует: и Женю, и Пяста, теперь — Ремизова. Когда доходит до денег, — он, кажется, нестерпим. Или он ничего не может, а только хвастается? Купчина Сытин, отваливающий 50 000 в год бездарному мерзавцу Дорошевичу, систематически задерживает сотни, а то и десятки рублей подлинным людям, которые работают и которым нужно жить — просто. Такова картина. Или Руманов врет все и, действительно, только на службе у купца, а повлиять на дурака и жилу не может?

Пишу Руманову, упрашиваю его.

Вечером — в Зоологическом саду — борьба.

5 июня.

Письмо (хорошее) от мамы. — Пришел Городецкий, которому я переписал 3 векселя. Завтра он уезжает

с женой в Италию. Некоторая недоуменность чувствуется между нами. — Весь день работал (1-е действие <sup>108</sup>).

6 и 7 июня.

Утром 6-го работал хорошо (кончил вчерне 1-е действие). Потом — закатился, встреча с Л. Андреевым, Сапуновым — и ужасно проведенные сутки. 7-го вечером — Пяст и Ивойлов (пришли).

8 июня.

Все еще Katzenjammer. Работал туго. После обеда пришел Руманов, с которым был тяжелый разговор о положении А. М. Рейзова. Он обещал... Не знаю, что из этого выйдет. — Вечером я пошел навестить Сапунова, с ним посидели на полавке, потом пришли и пили у меня чай.

11 июня.

Я все еще не могу вновь приняться за свою работу — единственное личное, что осталось для меня в жизни, так как ужасы жизни преследуют меня пятый день — с той злополучной среды (6 июня). Оправлюсь — одна надежда. Пока же — боюсь проклятой жизни, отворачиваю от нее глаза.

В субботу Люба играла в первый раз <sup>109</sup>: в пантомиме я принял за нее другую, а в интермедии Сервантеса она была красива, легко держалась на сцене, только переигрывала от волнения. Вся поездка была тяжела, почти все люди, кроме Пяста, были более или менее подозрительны ко мне.

После спектакля, от которого мне в общем было тяжело, мы с Любой прошли немного по туманному берегу моря (над ним висел красный кусок луны). Потом опять я стал одинок, и стало мне опять не переварить этой пакости, налезшей на меня.



Сегодня был сильный дождь, я разбирал письма, вдруг приехала Люба, было так хорошо. Пришел Франц, посидел немного. Я Любу проводил на вокзал...

Может быть, пройдет скоро эта мерзостная, вонючая полоса жизни, придет другая. Боюсь жизни.

12 июня.

Сегодня — одинокий, душный день, налаживание работы, вечерние поиски простокваши. Письмо от мамы, вечером не застал меня Пяст.

13 июня.

Работа не идет. Днем шляюсь — зной, вонь, тоска. Город провонял. Письмо от Бори — спокойное — из Франции. Вечером — у Пяста, где — Мандельштам <sup>110</sup>.

14 июня.

Письмо от А. М. Ремизова (с портретом Стриндберга), который сегодня уезжает, и от Верховского, который скоро приезжает. № «Аполлона» (5); письмо от Ангелины. Днем — в духоте квартиры, полной тараканов, без дела. Обедают у меня Женя и Александр Павлович. Ночью отношу на вокзал письмо Любе.

Меня звали по телефону в Териоки Кузьмин, Сапунов и К<sup>о</sup> — желающие устраивать в Петров день «Карнавал». Все идет своим путем. Скоро все серьезное будет затерто да и состоится ли еще? Публика способствует этому весьма; за понтомимы выручили 200 рублей, а за Гольдони... 30! Я не возмущаюсь этим, все люди должны делать то, что им предназначено; меня заботит только как атмосфера, в которой мне нечего делать, отразится на Любе. Ночью (почти все время скверно сплю) ясно почувствовал, что если бы на свете не было жены и матери, — мне бы нечего делать здесь.

15 июля.

Днем работал. Около обеда пришел Кожебаткин и принес ужасную вестъ: вчера ночью Сапунов утонул в Териоках — перевернулась лодка.

16 июля.

Получил от Любы описание гибели Н. Н. [Сапунова].  
Поеду в Териоки.

Городецкй, опоздавший прислать вексель в банк, заставил меня даром прошляться на Невский — утро потеряно, но все обошлось благополучно.

Решив, что день пропал все равно, я поехал на квартиру, откуда эти непорядочные люди, повидимому, не увезут мебели к сроку, и еще придется портить много крови и на этом. Под тяжелым впечатлением вновь наваливающейся пакости поехал в Териоки. Люба играла светскую старуху в очень пошлой комедийке Уайльда <sup>111</sup>, спектакль, в котором чувствовалась работа, хотя и очень короткая, был весь опять ни к чему. Измучили окружающие люди, вечно спрашивающие о чем-то, когда я хотел бы видеть Любу один, и чтобы она не знала, что я на нее смотрю. После спектакля мы опять прошли чуть-чуть по берегу моря, в котором лежит тело Сапунова, окрестили друг друга. До Петербурга я ехал с Голубевым <sup>112</sup>, который говорил, что не верит в театр и собирается бросить его. Как многие, — в тупике. — Я устал от всего этого очень.

17 июля.

Письма от Руманова и от Верховского, который приехал. Надо бы сократить количество людей. Я совершенно измучен. — И сейчас же я сокращаю, рассылая письма с откладываниями и т. д.

18 июня.

Утром налаживал квартирные дела. Отдых. Вчера бесконечно бродил в Екатерингофе, потом плелся по Летнему саду изможденный и вдруг почувствовал, как глаза заблестели и затуманились от этих слов:

Зажим был так сладостно сужен,  
Что пурпур дремоты поблек, —  
Я розовых, узких жемчужин  
Губами узнал холодок.

О сестры, о, нежные десять,  
Две ласково-дружных семьи,  
Вас пологом ночи завесить  
Так рады желанья мои...

.....  
Мои — вы, о дальние руки,  
Ваш сладостно сильный зажим  
Я выносил в холоде скуки,  
Я счастьем оваян чужим... 113

19 июня.

Я болен, в сущности, полная неуравновешенность физическая, нервы совершенно расшатаны. Встал рано, бодрый, ждал Любу, утром гулял, потом вернулся и, по мере того как проходили часы напрасного ожидания, терял силы и последнюю способность писать. Наконец, тяжелый сон, звонок, просыпаюсь — вместо Любы — отвратительная записка от ее несчастного брата. После обеда плетусь в Зоологический сад, посмотрев разных миленьких зверей, начинаю слушать совершенно устаревшего «Орфея в аду» — ужасная пошлость. Не тут-то было — подсаживается пьяненький армейский полковник, вероятно, добрый, бедный, нищий и одинокий. И сейчас же в пьяненькой речи его недоверие, презрение к штрюку («да вы мужчина или переодетая женщина» — «хорошо быть богатым человеком», — «если бы у меня деньги

были, я бы всех этих баб...», — «пресыщенный вы человек» и т. д. и т. д.) — т. е. послан еще преследователь. В антракте вышел я и потихоньку ушел из сада, не дослушав, — и знак был — уходи, доброго не будет, и потянуло, потянуло домой... Действительно, дома на столе телеграмма Любы: «приеду сегодня последним поездом» и нежное письмо бедного Б. А. Садовского, уезжающего лечиться на Кавказ. — «И вот я жив и говорю с тобой», друг мой, бумага.

Полковник, по-старинному, прав, но полковников миллионы на свете, а я почти один; что же мне делать, как не бежать потихоньку в мой тихий угол, если он есть у меня; а еще есть пока. Только здесь и отсюда я могу что-нибудь сделать. Не так ли?

Тебя ловят, будь чутким, будь своим сторожем, не пей, счастливый день придет.

Ночь белеет, сейчас иду на вокзал встретить Любу. Вдруг вижу с балкона — оборванец идет, крадется, хочет явно, чтобы никто не увидал и все наклоняется к земле. Вдруг припал к какой-то выбоине, кажется, поднял крышку от сточной ямы, выпил воды, утерся... и пошел осторожно дальше.

Человек. . . . .

23 июля.

Вчера вечером тихо гулял с Пястом. Необычайный, настоящий запах сена между Удельной и Коломягами. Сегодня утром — немногочисленная и трогательная панихида по Сапунове — в том самом темном углу Исаакиевского собора. Оттуда — я на квартире, где ремонт идет, и сволочь, жившая там, выселена. Потом зашли к Руманову (может быть, последний раз, на Морской, если он сделает то, что хочет делать), он отвез меня на крышу

Европейской гостиницы и угостил завтраком. Сытин уже печатает мои детские книжки. — У меня уже записано вчерне два действия (три картины), остается одно последнее, мелочи, песни, имена и т. п.

Сегодня — день пропавший для работы. Утром — письмо от Любы. В заключение дня — я напился.

24 июня.

Вчера Люба не играла, а сегодня играет главную роль в пьесе Шоу («Доходы мистрис Уоррен»), смотреть не советует, и я не поеду.

26 июня.

В моей жизни все время происходит что-то бесконечно тяжелое. Люба опять обманывает меня. На основании моего письма, написанного 23-го, и на основании ее слов я мог ждать сегодня или ее или телеграммы о том, когда она придет. И вот — третий час, день потерян, все утро — напряженное ожидание и, значит, плохая подготовка для встречи. Может быть, сегодня она и не придет совсем.

Люба приехала сейчас же. Покушала чаю, и мы осматривали квартиру. Выбрали обои, вечером... я читал ей свою оперу, ей понравилось. Она сказала, что это — не драма, а именно опера, для драмы — мозаично. Это верно. Меня ввел в заблуждение мой несчастный Бертран, в его характере есть нечто, переросшее оперу.

27 июня.

Утром Люба занималась делами, а вечером опять уехала, я проводил ее на вокзал. Писал Терещенке.

28 июня.

Вечером — у Верховского, живущего у Каратыгина<sup>114</sup>. Вечером туда пришел, сегодня неожиданно приехавший,

А. М. Ремизов. Вслед за ним — Гершензон. Сидели тихо — все больные.

29 июня.

К вечеру с Верховским поехали в Териоки. «Поклонение кресту». Люба не играла, вместе смотрели. Утомительный спор с Кульбиным у моря на лодке в тумане. Возвращались с Верховским и Пястом. Игра (Мгебров и Чекан), декорации — ширмы, занавес с разрезами, по нему — гирляндой кресты. Частью — хорошо.

Ночь на 3 июля.

Проснулся на рассвете, прохлада и острота мыслей после дней пьяной болезни и жары. Купальный халат шевелит кровь.

В Териокском театре стоит говорить о трех актерах: Л. Д. Блок, Мгеброве и Чекан.

В моей жене есть задатки здоровой работы. Несколько неприятных черт в голосе, неумение держаться на сцене, натруженность, иногда хватание за искусство, судорожность, когда искусство требует, чтобы к нему подходили плавно и смело, бесстрашно обжигались его огнем. Все это может пройти. Несколько черт пленительных: как садится, как вертела лорнет, — все тот же изгиб руки, какое-то прирожденное изящество нескольких движений, очаровательное произношение нескольких букв, недоговоренность. Хотел бы я видеть ее в большой роли.

Нет, все-таки я усталый и больной!

Мгебров и Чекан, одно и то же теперь. В Мгеброве — роковое, его судьба подстерегает. Крайний модернизм, вырождение, страшная худоба и неверность ног, бегают, как каракатица. В монологе «Мое рождение было странно, я — Эусебио Креста» (произнес неправильно, как когда-то Коммиссаржевская — запомнилось) — очень благо-

родные ноты. Игра Мгеброва и очень красивые ноты в голосе Чекан — о себе. Они интересны оба и оба, может быть, без будущего — что останется им делать, когда молодое волнение пройдет. Чекан — обыкновеннее, как женщина. А такого сына, как Мгебров, обреченного, с ярким талантом, который, может быть, никогда не разовьется, можно любить. Его мать ходит, злясь на всех, по-моему, и я это понимаю. В первом действии Кальдерона (!), где играли лучше всего — Мгебров и Чекан подчеркивали свои отношения, ввели мотив танда апашей. И так: Кальдерон: 1) в переводе Бальмонта; 2) в исполнении модернистов; 3) с декорациями «более чем условными». И однако — этот «католический мистицизм» был выражен, как едва ли выразили бы его обыкновенные актеры.

Утро. Сейчас прочел об аресте Руманова.

Внезапно, когда я писал письмо маме, приехала Люба... Я проводил ее на вокзал. Вечером пришел Пяст — и загуляли.

17 июля.

Многое: Шахматово, Терещенко у меня, чтение оперы маме, тете и ему, Стриндберг в Териоках, купанье в Шуваловском озере с Пястом. Все описано в письмах к маме, повторять здесь не стоит.

---

Возвращение в Петербург.

18 августа.

События: 24 июля — переезд на Офицерскую. Пустая жизнь.

8 августа — в Шахматово.

14 августа — Москва — Шахматово, встреча с Любой около Осиповки.

17 августа — ровно с тем же поездом, с каким девять лет назад и в отдельном купе мы с Любой едем в Петербург.

*21 августа.*

Приехала мама.

Все следующие дни — мама, я обедаю у нее. Вечером Пяст (уже три раза).

*28 августа.*

Вечером Пяст.

*29 августа.*

Вечером — Вася Гиппиус.

*1 сентября.*

Днем мама и Женя.

*2 сентября.*

Днем — Городецкий, целый день — мама, обедал с Францем, проба прислуги — пока неудачная.

*4 сентября.*

... Проба прислуги — удачная, поступила. Квартира.

*7 сентября.*

Утром Муся <sup>115</sup>. Монтеры. Письмо\* \*. Вечером — Клюев, мама, Женя. Клюев ночует.

*8 сентября.*

Утро с Клюевым. Монтеры. Жду Любу. Сегодня, может быть, свадьба Сережи Соловьева в Дедове.

*9 сентября.*

Мы с Любой обедали у мамы.

*11 сентября.*

Днем — М. И. Терещенко с А. М. Ремизовым у меня. Вечером я с братьями Верховскими у А. М. Ремизова. Л[юба] у своего учителя — Мейерхольда.

*12—14 сентября.*

Дни бесконечного упадка сил. Чулков приходил и писал — не застал, и я к нему не пошел.



16 сентября.

Люба все уходит из дому — часто.

17 сентября.

Л[юбины] именины. Ее поздравляют, дарят ей цветы и конфетки... Вечером А. М. Ремизов, Женя, Верховский.

18 сентября.

В воздухе — война. «Пробная» мобилизация. Ночью — Мгебров и Чекан. Люба у Мейерхольда...

19 сентября.

Пришла, выдав себя за незнакомую курсистку, желающую показать стихи, \* \*.

20 сентября.

Ночью и днем готовится наводнение. У меня — студент со стихами, довольно милый. После него — вечером — Вася Менделеев <sup>116</sup>, с которым мы вдвоем сидели тихо и рассуждали. Л[юба] в Александрийском театре...

21 сентября.

... Приезд тети. Устаю сильно — ем, сплю, ничего попрежнему не делаю.

24 сентября.

Первый любин урок у Панченки.

25 сентября.

Библиофилия начинает снедать меня. Сегодня я купил первые два полутома André Michel'я (в переплетках), купил Кальдерона (т. III — и т. II, который у меня летом изорвали актеры) и нашел у Маркса «Ранние годы моей жизни» Фета (оказывается никто не спрашивает, и издание, которому уже 19 лет, не распродано). На лестнице у Маркса встретился с Кондурушкиным <sup>117</sup>...

26 сентября.

Бесконечная и унижительная тоска. Доктор Студенцов у мамы... Вечером — Верховский. Простились до Рождества.

27 сентября.

Утром тетя и мама (завтракали). Обедал Пяст, я его уютно провожаю на извозчике до него и до Тенишевского училища... Чахотка у Чулкова.

28 сентября.

Библиофилия. Купил на Владимирской Аполлона Григорьева за 8 рублей. Державина—43-го года—четыре книги в двух переплетах. «Русскую народно-бытовую медицину» Попова (Тенишевское издание). У Балашова—Бердслея «Скорпиона», только-что вышедшего. Там жаловались на Кожебаткина, называя его даже «жуликом». Я не получаю ни «Трудов и Дней», давно вышедших (№ 3), ни гонорара за свои книги (до сих пор остается 350 руб.), которые, кажется, только и идут—из всех мусажетских изданий. От мусажетов вообще давно—никаких известий.

Люба опять ушла до поздней ночи, а у меня милый Женичка. Умер маленький Марк, сын Петра Павловича, сегодня его хоронили.

29 сентября.

Днем—у мамы, восхищенной Чайковским, в концерте Кусевидского.—Шатание по пригородам.—Вечером зашел ко мне Сережа Городецкий, необыкновенно был мил, и я чувствовал на себе его любовь. Он был чем-то, кажется, взволнован.

30 сентября.

Первый, пока еще не сильный, ручей мысли об опере (как кончить, несолько подробностей, возможность еще одного—предпоследнего действия). Письма от В. Сытина и Брюсова. Вечером—в цирке...

1 октября.

На vernissage выставки Кульбина, на которую приглашены мы с Л[юбой], пошла она. Вечером пошла чествовать Кульбина в «Бродячей Собаке»<sup>118</sup>. Днем была еще на «футболе». Вечером — я сунулся к маме, но у нее, сказал швейцар, сестра Франца. В отчаянии полном я пошелся кругом квартала. Сыроватая ночь, на Мойке против Новой Голландии вытянул за руку (вместе с каким-то молодым человеком) молодого матроса, который повис на парашете, собираясь топиться. Охал, потерял фуражку, проклинал какую-то «стерву». Во всяком случае это мне чуть-чуть помогло. Утром и вечером — дописываю стихи. Днем купил у букиниста указатель к запискам Болотова, когда-то потерянный (или украденный?) в переплетной Гаевского («Русская Старина», X, 1873).

2 октября.

Утром — заказал телефон (612—00). Днем — мама. Потом — А. И. Тиняков (Одинокий)<sup>119</sup>. Книга от Вл. Вас. Гиппиуса (Возвращение). Письмо М. Аносовой<sup>120</sup>.

3 октября.

Сегодня я достал на Литейной первые издания Катулла и Тибулла — Фета<sup>121</sup>...

4 октября.

Люба вчера была в подвале «Бродячей Собаки». Сегодня — в Александринском театре (нет не попала — в кинематографе). — Я дополнил свою «Русскую Историческую Библиотеку» номерами 4 и 5 (заграничное «Былое» 1900—1904 гг.). Купил большой латинский словарь. — Утром поражал меня Катулл, особенно то стихотворение, первую строку которого прочел мне когда-то Волошин на Галерной, когда я был еще вовсе глух.

Super alta vectus Atys cebri rate maria,  
Phrygium nemus citato cupide pede tetigit... 122.

Вчера, ночью и утром — стыд за себя, за лень, за мое невежество в том числе. Еще не поздно изучать языки.

Вечером — у мамы, которая очень плохо себя чувствует; гонит кухарку. Пришел Женя.

Сербия и Болгария также начали войну с Турцией.

5 октября.

Люба в Михайловском театре («Двенадцатая ночь» Шекспира). Обедал и вечером — Пяст, после обеда пришли мама и Франц. Письма от Метнера и из «Летучей Мыши» 123. Греция вступила в войну.

6 октября.

Письмо от В. Сытина. Я купил французские книги у Семенова. Бальзак 3 тома 31-го г. Маленькую антологию французских прозаиков — Леметра. Любе — 3 томик Крепильона и маленький учебник гимнастики для девочек.

7 октября.

Обедаю у мамы с тетей... Люба просит написать ей монолог для произнесения на судейкинском вечере в «Бродячей Собаке» (игорный дом в Париже сто лет назад). Я задумал написать монолог женщины (безумной?), вспоминающей революцию. Она стыдит собравшихся 124. Ушел шататься, оставив маму, Франца и тетю в ожидании сегодня приезжающей к ним таксы, которая будет названа «Топкой».

8 октября.

Я знакомился с Топкой. Ему — два с половиной месяца: гадит, обжора, любит мясо, любит грызть все; Франц

подарил ему резиновую кошку. Послал В. Сытину детские стихи для альманаха... Люба пила вечером чай со мной.

Мама вчера сказала, наконец, \*\*, в чем болезнь \*\*, который лежит в своей скверной комнате и кашляет очень сильно. Следует разлучить его с \*\* и отправить в больницу, лучше бы — в Москву.

*9 октября.*

Люба ходит с китайским кольцом «на счастье» — с лагушонком... Приходится заниматься васиными делами. За обедом приходил Ваня.

Проводили телефон. Я занимался немного оперой.

Вечером поздно пришел Городецкий, принес «Гиперборей»<sup>125</sup>. На-днях выпускает «Иву» в «Шиповнике» (Лядкий «Огни» и ему напакостил). В декабре думает выпустить III книгу рассказов.

*10 октября.*

... Днем — у мамы, она больная и без прислуги. Там тетя и Ольга Александровна Мазурова.

Разговоры по телефону. Вечером у Ремизова. Серафима Павловна, сестры Терещенко. С. П. видела в Мюнхене А. Белого. Она говорит, что он не изменился. Эллис ей неприятен. А. Белый враждебен \*\*, которая живет при Штейнере, как при старшем брате только, живет потому, что измучена жизнью, больше чем потому, что — Штейнер...

*11 октября.*

Утром — няня Соня. Днем немного занимался оперой. После обеда пришел М. И. Терещенко, сидел со мной два часа. Вот о чем мы говорили:

Он в отчаянии и сомневается в своих силах, думает, что все, что он делал до сих пор — дилетанство. Прямо из университета попал в театр, а теперь, когда (в апреле) все это кончилось, чувствует, что начинается жизнь

и надо делать, наконец, — что, не знает. Приблизительно — так.

Были они с Ремизовым в Москве, о студии Станиславского: актерам (молодым, по преимуществу) дается канва, сюжет, схема, которая все «уплотняется». Задавший схему (писатель, например) знает ее подробное развитие, но слова даются актерами. Пока схема дана Немировичем-Данченко из актерской жизни в меблированных комнатах (что им, предполагается, всего понятнее!), также репетируют Мольера (!), предполагая незнание слов: подробно обрисовав характеры и положения, актерам предоставляют заполнить безмолвие словами; Станиславский говорит, что они уже приближаются к мольеровскому тексту (узнаю его, восторженный человек!). — Студия существует на средства Станиславского, и он там — главный. Терещенко предлагает мне поехать туда вместе в начале ноября — посмотреть.

Со студии перешли на общий разговор. Об искусстве и религии; Терещенко говорит, что никогда не был религиозным и все, что может, думает он, давать религия, дает ему искусство (2—3 момента в жизни, преимущественно — музыкальных). Я стал в ответ развивать свое всегдашнее: что в искусстве — бесконечность, ведомо «о чем», по ту сторону всего, но пустое, губельное, может быть, то в религии — конец, ведомо о чем полнота, спасение (говорил меньше, но все равно — схемой, потому поневоле живо). И об искусстве: хочу ли я повторить или вернуть те минуты, когда искусство открывало передо мной бесконечность? Нет, не могу хотеть, если бы даже сумел вернуть. Того, что за этим, нельзя любить (Любить — с большой буквы).

Терещенко говорил о том, что искусство уравнивает людей (одно оно во всем мире), что оно дает

радость или не что, чего нельзя назвать даже радостью, что он не понимает людей, которые могут интересоваться, например, политикой, если они хоть когда-нибудь знали (почувствовали), что такое искусство; и что он не понимает людей, которые после «Тристана» влюбляются. Со всем этим я, споря, не спорил, как часто это мне приходится делать; а именно: я спорил, потому что знал когда-то нечто большее, чем искусство, т. е. не бесконечность, а Конец, не миры, а Мир; не спорил, потому что утратил То, вероятно, навсегда, пал, изменил, и теперь действительно, «художник», живу не тем, что наполняет жизнь, а тем, что ее делает черной, страшной, что ее отталкивает. Не спорил еще потому, что я «пессимист», «как всеми признано», что там, где для меня отчаяние и ужас, для других—радость, а может быть—даже—Радость. Не знаю.

Уходя, М. И. дал мне срок три недели для окончания оперы.

Он не верит драматическому театру, не выносит актерского духа, первое слово со сцены в драме коробит его. Пришло, думает он, время соединять, а как,—не знает. Едет в студию — учиться.

Все это оставило во мне чувство отрадное — весь разговор, также частности его (о «Ночных часах», о Ремизове), которых я здесь не записал.

Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной. Будущее покажет. . .

Мне, однако, в разговоре с Любой удалось, кажется, определить лучше, что я имею против модернистов.

Стержень, к которому прикрепляется все многообразие дел, образов, мыслей, завитушек—должен быть; и должен он быть—вечным, неизменяемым при всех обстоятельствах. Я, например, располагаю в опере все, на что я способен, вокруг одного: судьба неудачника; по крайней мере в христианскую эпоху, которой мы современники, это величина постоянная. Если же я (или кто другой) буду располагать все многообразие своих образов вокруг Рока и бога греческой трагедии, то я буду занят чем-то нереальным, если захочу это показать другим. Сам я, может быть (мало вероятно), могу проникнуть в *Ἀνάγκη*, *Μοῖρα*, Олимп, но я и останусь один, а вокруг меня будет попрежнему бушевать равнодушная к богу эпоха.

О модернистах я боюсь, что у них нет стержня, а только талантливые завитки вокруг пустоты. Люба хорошо возражает: всякое предыдущее поколение видит в следующем циников, нигилистов, без стержня. То же было и с нами. Может быть, я не понимаю. Может быть, и у них есть «священное». Будущее покажет.

12 октября.

Днем — опера. Перед обедом у мамы. И вечером — эти удивленные черные глаза и минута влюбленности.

Известие о смерти И. А. Саца <sup>126</sup>.

13 октября.

Днем у меня — Георгий Иванов. Обедал у мамы с Любой и с Женей. Женя сообщил о смерти Александра Сергеевича Андреева <sup>127</sup> — через адресный стол правление дороги узнало, что он умер в марте.

Люба купила у старьевщика вазу — красно-розовую с белыми украшениями и фигурами, на дне — герб Голешищевой-Кутузовой (есть у Селиванова).



14 октября.

Вчера на ночь чтение Апулея нагнало дурную тревогу. Тяжелый сон. Сегодня — нервный день. Днем Аля Мазурова у Любы. Вечером у меня — Вася Гиппиус.

15 октября.

Утром Городецкий прислал «Иву» с письмом. Письмо от Сытина. Пришла О. М. Мейерхольд. \* \* \* совсем расстроенный, рассказывает, что было с ним на Ф[инляндскому] в[окзале] 7 октября (секрет). Пошли с ним в почтамт, — потом — к Красному мосту — заказали мне куртку. Вечером я у мамы. «Итальянская комедия» от В. Н. Соловьева <sup>128</sup> (он заходил и не застал).

.....

16 октября.

Утром — опера, набросал вчерне 1-ый акт. Перед обедом у мамы, у которой был доктор. Маме плохо. Долго лечить эту болезнь. Еще одна кухарка выгнана. Маленькая собака — непоседа. Боюсь, что будет неприятного характера.

Обедает тетя, которая «навещала» \* \*, издерганного нервами...

Вечером я в кинематографе. Разговор по телефону с Ремизовым и Терещенко. Письмо от М. Аносовой. Трудно, но надо ответить. Завтра — год, как я пишу систематически дневник. Не много приятного было в это время...

17 октября.

Занятие оперой с тяжелым чувством — что-то не нравится, чего-то не хватает. Во всяком случае — кончить скорей, там будет видно.

В 4 часа приехали Терещенко и Ремизов, поехали кататься. Острова и стрелка уже в мягком снегу, не-сказанное есть.

Секрет пока ото всех: издательство, которое устраивают сестры Терещенко <sup>129</sup>. Нанята уже квартира на Пушкинской, деньги будут платить, как лучшие издательства, издавать книги дешево, на английской бумаге. Русские, по возможности. Хотели купить «Шиповник», разоряющийся (главный пайщик застрелился), но слишком он пропитан своим, дымовско-аверченко . . . юмористическим.

Вечером мы с Любой в цирке Чинизелли. Она повеселее. Устали, пьем вместе чай, воротясь.

Мертвый я, что ли?

18 октября.

Опера. Днем — прогулка. Вечером — я в религиозно-философском собрании. Струве читал доклад Одинцова о Сер. Киркегоре, написано бездарно. У Киркегора есть интересные, хотя и слишком психологические и путаные места об «эстетиках» (мужеского рода). Потом возражали Мережковский (прекрасное у него было лицо) и Каргашев.

Зинаида Николаевна. Много народу — тетя, Каблук, Пришвин, Княжнин, Сюннерберг, Аггеев, Филосов, Александра Н. Чеботаревская.

Сидели с Женичкой, который произвел скандал с моим шуточным письмом к нему, замешав в него Руманова. Поправил дело, но, кажется, боюсь, Руманов обиделся.

Мама была сегодня в концерте...

Сегодня из сидевших за столом умных людей самый «позитивный» (Струве) говорил о «величайшем страдании», как о должном, так привычно и просто. Остальные даже не говорили — оно было написано у них на лицах.

19 октбля.

Утром и днем — бесчисленные дела: письма Бродского<sup>130</sup> и Коммиссаржевского<sup>131</sup>, посещение брата Л. Андреева, устраивающего вечер памяти Серова. Днем — у мамы и у дантиста. Вечером у Пяста, его брат, мать...

20 октября.

Туча дел, только не опера. Письмо Философова, ответ Сытина. Утром — телефон с Санжарь<sup>132</sup>, с А. М. Ремизовым. До завтрака пришла Веригина, которая бросает провинцию и переезжает в Петербург. Днем поехали поздравлять Клеопатру Михайловну Иванову и сидели там мы с Любой, мамой, тетей и Францем, пили чай, горела лампадка. К обеду пришел \*\*, книжные разговоры. Он заметно влюблен. Потом — гулял... Воротясь, нашел письмо М. И. Терещенко, который пишет, что сегодня порвали с «Шиповником» и перешли к ним — Ремизов и Сологуб.

Мне принесли новую домашнюю курточку.

21 октября.

Ответы на письма, телефон с А. М. Ремизовым и М. И. Терещенко. «Опера»... Тяжело Любе, что она не играет нигде, если бы ей можно было помочь. Наняла еще одну прислугу — глухую.

22 октября.

С раннего утра — занятие «оперой», от которой я начинаю сатанеть. Понемногу — злая тоска. У мамы, с Любой — все бесконечно тягостно. Вечером — цирк с Жаном и Дези<sup>133</sup>; встреча там с Зоргенфреем<sup>134</sup>, который хочет прийти.

Мама вчера была у Поликсены Сергеевны, которая, как ребенок, немного подпортилась, очевидно — от совместного житья с Зинаидой Николаевной [Гиппиус] летом.

Написала плохую поэму, которую З. Н. хвалит. — Лиза Безобразова <sup>135</sup> «сошла с ума», ее отвезли к Бари. — Сережа Соловьев с женой были здесь недавно — два дня — только у Безобразовых и у родни Всеволода [Соловьева].

От Брюсова из Москвы Иванов-Разумник привез полное согласие на издание его книг в «Сирине».

23 октября.

Работал. Телефон с М. И. Терещенко, А. М. Ремизовым и Пястом. Пяст — о \*\*, который вчера был у него и его очаровал. Перед обедом пришла моя усталая мама, обедала, вечером мы вышли с ней вместе. Я пришел на концерт Илоны Дуриго, билет мне дал М. И. Терещенко, мы сидели с ним. Потом поехали к нему, приехали Бакст и А. М. Ремизов, сидели до второго часа, говорили об издательстве. Все было очень хорошо для меня.

Люба весь почти день занималась делами брата.

24 октября.

День был какой-то восторженный — во мне, хотя мы не поехали кататься, как собирались, — Терещенко заболел. Много планов строил по телефону с А. М. [Ремизовым]. Вечером пришел ненадолго Женья (принес в подарок «Мир Искусства» 1901 года!), днем я искал архитектора Михаила для А. М. — лубочную картину — около монастыря Иоаннитов и в Апраксином дворе. Заря была огромная, ясная, желтая, страшная. Вечером я пил чай у мамы. «Оперой» не занимался, боюсь, опоздаю...

Планы мои относительно Пяста (переиздать «Ограду» с дополнениями, в альманахе — стихи и неизданный Эдгара По, пусть пишет роман или отделает повесть), Жени (приспособить его к той части трехтомного издания икон Музея Александра III, где они будут описываться и толко-

ваться между прочим «символически»), Верховского (все собрать в одну книгу), Городецкого (стихи в альманах), Кряжнина (?).

.....

25 октября.

Печальный день, споры с Любой, первый монолог Бертрана, стишки для Сытина, бессмысленное шатание вечером.

26 октября.

Весь день — «опера». Поздравлять с именинами Философова мы с Ремизовыми не пошли, хотя давно решили и обговорили, какой нести пирог. Стало тяжело. Вечером — бессмысленное шатание.

Записка от мамы и от Ангилины. Телефон с П[ястом], Женей и Ремизовым.

Гг. Мгебров и Чекан желают повторять «Виновны-невиновны?» Стриндберга в Политехническом институте и зовут играть Любу, которая будет сообразовываться с Веригиной и спросится у Мейерхольда.

Это передано через Пяста.

Философов, оказывается, звонил по телефону, пока я шаялся, и, кажется, обиделся.

27 октября.

Утром и днем — новые соображения о «Рыцаре-Грядущее». Днем — купил в новооткрытой Семеновым лавочке на 5-ой линии, где встретил Бенуа, — огромные тома Павсания (лат. и греч.) и «Simonis Maioli episcopi Vulturariensis diegum canicularum tomi septem» — латинские — обе XVII столетия (по 6 рублей). Кроме того — мелочей книжных. Вечером — письмо от М. Аносовой и от бедного Д. В. Философова, горькое, с упреками

и укорами письмо, на которое отвечаю сейчас длинно и пошлю завтра вместе с цветами...

.....

28 октября.

«Опера», ответ Философову, прогулка по Петербургской стороне, старым местам, где бесконечный уют, все маленькое от снега, и тишина такая, что и жизнь бы скончать... Днем у Любы — Варвара Михайловна Сюннеберг, собирающая венок Мейерхольду. Вечером — у мамы, много о Поликсене Сергеевне. Поздно вечером — Пяст с лекции о «тихих приютах для измученных душ», читал какой-то Быков (В. П., кажется) — о пустынях и монашестве. Пяст читал мне свои стихи о Лигейе и о Лигейе-Ровене; — первое — с трудом я понял, в нем какое-то замороженное, не влекущее единство; второе — почему-то частью неприятно напоминает Георгия Чулкова, неприятной банальностью приема. Но оба — его, свои, близкие в возможности мне, если я воспроизведу в себе утраченное об Э. По. Теперь я слишком о другом, обмозговываю «Рыцаря-Грядущее». Я подробно рассказал Пясту всю «оперу», ему понравилось, говорит, что это только начало...  
Опять начало... чего?..

.....

29 октября.

Поздно встал. IV-й акт. Трогательный ответ от милого Д. В. Философова...

Днем — телефон с Женей и А. М. Ремизовым. С Сологубом «Сирин» переговоры прекратил, с Брюсовым, напротив, все идет хорошо, и на-днях будет заключен контракт. 1 ноября, вероятно, «освящение» помещения «Сирина». —

На религиозно-философское собрание, где Женя должен был ругаться с Мережковским, я не пошел...

30 октября.

IV действие весь день. Вечером — у мамы. Мама рассказывает о религиозно-философском собрании (ушла от непристойных пошлостей Адрианова <sup>186</sup> и проч.) и о Подиксене Сергеевне, которая больна, и у которой мама часто бывает. Доктор сказал ей сегодня, что сердце очень легко расширяется, будет лечить от малокровия. Потом — тихая прогулка... над черной Невой среди огней Николаевского моста. Я стар.

Женичка говорил по телефону, что обижен, зачем я не пришел. Из-за оперы, главным образом. Но по существу хочу суметь сказать ему, что он портит себя «писательством», его драгоценное место в жизни — не в том; когда он пишет, — он свою гениальность превращает в бездарность...

31 октября.

Утром, как надо, в срок, данный М. И. Терещенко, окончил «оперу», только песен (отдельных) еще нет. Сказал по телефону об этом А. М. Ремизову и М. И. Терещенко. Днем — гулял и у букиниста (около акробатов), досадно не купил очень хорошего. Вечером — читал у мамы «оперу» при Любе и тете.

Люба днем у портних, а вечером — в подвале «Бродячей Собаки».

2 ноября.

Сегодня Люба уехала в Н.

Произошло так много, что трудно записать при измученности. Вчера (1 ноября) М. И. Терещенко заехал за

мною, мы поехали к А. М. Ремизову, по дороге говорил о своем разговоре с Л. Андреевым (журнал, который хочет издавать Л. Андреев). Потом поехали кататься, и ездили взад и вперед — на Пушкинскую, 10, в «Сирин», где сидят Иванов-Разумник и секретарь, пахнет дымом и стоят немногие новые мебели, потом к Кузнецову на улицу Гоголя кормить А. М. ветчиной. Потом отвезли его домой, потом меня М. И. отвез домой.

...Вечером 1-го я даром ходил к букинисту у «Аква-риума». Потом переплетчик принес книги и сам пришел пьяный, мы при ярком свете разбирали, было мрачно, жутко и ужасно. Промаялись до 4-го часа.

Сегодня (2-го) я днем зашел к маме... Меня выгнали из дому полотеры. К обеду пришла Люба, сделала разные дела с портнихами и купив билеты, — и уехала в седьмом часу на вокзал. Говорит — на неделю — 10 дней.

В начале 8-го ко мне приехал М. И. Терещенко, сидели мы до 11-го часа. Я читал ему «оперу», потом — стихи. Он хвалил, но очищающего чувства у меня нет. Говорит — дописать песни, диалоги, которыми и я недоволен, предоставить «Студии» Станиславского, прочесть пьесу Станиславскому, потом — думать о музыке к ней. Конец похож на конец «Курвенала», чего я не знал (не читал и не слышал Вагнера). Не нравится ему (Терещенке) то, что Бертран плачет, увидав, что Гаэтан — старик.

Буду делать...

*3 ноября.*

Утром приходила мама. Усталый — весь день я гулял — Лесной, Новая Деревня, где резкий и чистый морозный воздух, и в нем как-то особенно громко раздается пропеллер какого-то Фармана. Потом — у букиниста (в переулке акробатки) наверстал упущенное с лихвой. Обедал у мамы



с тетей, вечером туда пришел Женя, с которым был длинный разговор и спор. Тяжелый и ненужный.

5 ноября.

Днем разборка книг и кой-что (via Tolosana и т. п.)<sup>137</sup>. Обедал у мамы с тетей и Феролем — тяжело и тоскливо. Вечером — кинематограф с «миниатюрой» на Петербургской стороне...

А. М. Ремизов передал по телефону, что Терещенке нравится моя пьеса.

7-го ноября вечером меня «с супругой» зовут в «Аполлон» слушать чтение стихов «Цеха поэтов»...

7 ноября.

Два дня прошли печально. Вчера вечером позвонил ко мне М. И. Терещенко и приехал. Сидели, говорили, милый. Говорили о разговоре с Л. Андреевым — отказался окончательно субсидировать его журнал — («Шиповник»). Андреев поминал обо мне с каким-то особым волнением, говорил, что я стою для него — совершенно отдельно, говорил наизусть мои стихи «Матроса», «Незнакомку», говорил о нелепых отношениях, которые создались с летней встречи (которая для меня совпала, как всегда, с одним из ужаснейших вечеров моей жизни: Сапунов, месяц, Аквариум).

Что меня отваживает от Андреева: 1) боюсь его, потому что он не человек, не личность, а сплав очень мне близких ужасов мистического порядка, 2) эта связь нечеловеческая (через «Жизнь человека» — не человека) ничем внешним не оправдывается, никакая духовная культура не роднит, не поднимает. Андреев — один («одно»), а не в соборе культуры.

М. И. Терещенко говорил о своем детстве, о сестрах, о том, что он закрывает некоторые двери с тем, чтобы

никогда не отпирать; если отпереть, — только одно остается — «спиваться». Средства не отпирать (закрывать глаза) — много дела, не оставлять свободных минут в жизни, занять ее всю своими и чужими делами.

!!!!!! О !!!!!

Об эгоизме своем и моем («все о себе» — то угрызение, с которым я вчера проснулся утром!). О том, что таких много («эгоистов» — все возвращающихся к себе, не смотря...) да, да, так, так.

О России: проведя за границей 11 лет (если не вру — 11) и не сумев войти всем сердцем ни в один из интересов «Европы» (кроме специальной области — искусства), он попал здесь в студенческую среду в петербургский университет.

В Лейпциге — студенты, как школьники, их муштруют, делают выговоры за громкий разговор; но на экзамене — обратно, равный с равным.

У нас — наоборот: в коридоре студент профессора «хлопает по животу», а на экзамене — как школьник, трусит, заискивает. То же — и еврей. В результате — четыре немецких студента с первого экзамена пошли первыми, так, что их выделили и спрашивали отдельно (Терещенко кончил первым), а 400 их русских однокурсников — все были плохи.

Эти первые в России впечатления (университетской жизни) отвадили Терещенко от России, сразу заставили усомниться в «способностях русского народа» (разговор наш зашел по поводу «обвинительного акта» Боброва — у Ремизова и разговора с Л. Андреевым, который хватался: «придут, бывало, семь пьяных приятелей в публичный дом, и вдруг откуда ни возьмись — разговор на самую задушевную и серьезную тему»). Я, говорит Терещенко, предпочитаю славянофильство. Всего противнее

и дальше — «интеллигентство» (эпигонское — №). Старо-обрядцы, Москва, П. Рябушинский заставили Терещенку верить в скрытые силы русского народа.

О стихах. Брюсов, говорит, «не поэт» (первое впечатление от «Зеркала теней»). Бальмонта не знает. Вячеслава Иванова не знает.

При этом — милое это лицо. М. И. Терещенко, для которого «мир внутри него» — врывает во мне ключи, которые подтверждают мне, что есть мировые связи, большие, чем я. В нем спит религия.

Вечером: и днем и вечером — восторг какой то — «отчаянный», не пишется, мокрый белый снег ласкает лицо, брожу, рыщу.

8 ноября.

День языка — двенадцать часов подряд. Мама и тетя завтракают, Ивойлов обедает, вечером — у мамы — Ася Лозинская <sup>138</sup> с матерью и мужем. Измученность.

9 ноября.

Утро. В газете — Мережковские продолжают высказываться о пьесе Сологуба <sup>139</sup> на Александринке. Статья Дмитрия Сергеевича — большой силы.

Вчера с мамой и тетей — бездейственный разговор — о России, интеллигенции и пр. — так, что вдруг о, ужас, «начинают быть слышны голоса» (это и убийственно, картон, самое ужасное).

Княжнин — интеллигентская «совесть», «Да, я эгоист». Аничков не платит денег, но «честный человек». Разоблачения. \* \* и \* \* будто против него <sup>140</sup> при ссоре с Аничковым за «сильного» Аничкова. Щеголевское издание

Пестеля... Неверие в Терещенку. Затравлен, запуган. Глаза косят—злые. Тревожит меня—и хорошо—и плохо.

М-те \* \* ужасно грязная полька. — Боже мой!

Пишу длинно Ивойлову и отвечаю коротко и ясно г. Бенштейну. — Пяст звонит по телефону, у него что-то важное случилось — несчастье — завтра будет у меня обедать. — Потом — Женя говорил, хотел вечером прийти с Ге, отложили до будущей недели. Потом — я понял окончательно, что Рыцарь-Грядущее должен быть переделан. — Пока я обедал, приехали Терещенко и Ремизов, мы катались — покупали в Гостином дворе подставку для лампадки (А. М.), потом — на стрелку. Потом меня отвезли домой, но я опять ушел.

10 ноября.

Утром зашла мама. Ей — развитие нового типа, Рыцаря-Грядущее. Гулянье по островам. Талый восторг. Обедает \* \*, рассказал сначала об истории с женой, хочет брать детей, кажется, это надо. Потом — долгий разговор о «важном»...

11 ноября.

Обдумывал Рыцаря, отвечал на письма. Думал идти к Мережковским, но, позвонив по телефону Философову, узнал, что сегодня нельзя, у них какие-то русскословные дела — Дорошевич и Благов. Поговорили с Д. В. Потом — с А. М. Р[емизовым] о всяких сытинских делах — больше. Нечего делать — мы оба волей-неволей (пожалуй, А. М. Р. — и волей) — чуть-чуть редакторы... Кстати, вчера я читал «Иву» Городецкого, увы, она совсем не то, что с первого

взгляда: нет работы, все расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в 10 раз короче, сжатей, отдельные строки и образы блестят — самоценно, бóльшая же часть оставляет равнодушие и скуку. Обедал у мамы с тетей и Францем, который очень печальный и жалкий, думает об отставке. Вечером пошел в «Кривое Зеркало», где видел удивительно талантливые пошлости и кощунства г. Евреинова <sup>141</sup>. Ярчайший пример того, как может быть вреден талант. Ничем не прикрытый динизм какой-то голой души.

Печальное возвращение домой — мокро, женщины возвращаются из театров похорошевшие и возбужденные, цыганская нота.

.....

12 ноября.

Ночь и день необычайны. Всю ночь кошмары... Утро — полное сложных идей...

Вечером — религиозно-философское собрание, Кондурушкин об Илиодоре. Наблюдения. Чай пьем у мамы, Франц, усталый и печальный, говорит — война: австрийцы мобилизовали 8 пограничных корпусов.

.....

13 ноября.

Сбитый с толку день. Электричество не слушается. С 4-х часов — обедает, до 10-го — Борис Александрович Садовской, значительный, четкий, странный и несчастный. Вечером — зашел к тете, где мама и В. А. Билибина. Потом...

Господи, неужели опять будут кошмары ночью.

.....

Вчерашний день — полный. Утром пишу некролог Бравича <sup>142</sup>, за которым присылают из газеты «Театр». Потом — брожу с нервами, напряженными и замученными. В воздухе что-то происходит. Вечером у меня Женя и Ге (Ге — получше, но основание все то же — безволие между двух стульев, милый, честный, Пяст (у него ничего нового), Скалдин <sup>143</sup> (полтора года не видались: совершенно переменялся. Теперь это — зрелый человек, кующий жизнь. Будет — крупная фигура. Рассказ подробный о событиях в жизни Вячеслава Иванова, связь его с его «семьей»). Об А. Белом. Выходит книга Вяч. Иванова, посвященная мне <sup>144</sup>. О Кузьмине — болен, доживает последние годы. О политике, о новой газете — Недоброво, Протопопов, Сытин). — На минуту зашел Н. И. Кульбин — сказать, что он закончил рисунок занавеса для Любы <sup>145</sup>.

Скалдин сидел до 4-х часов ночи. Сегодня утром — мама. Комплекты старой «Тропинки», которой остался один номер жизни... Письмо от Д. В. Философова с предложением итти завтра на «Заложников жизни». Но я лучше проведу свое рождение тихо — у мамы, с Женей, а сверх того — работа моя («опера») заброшена в течение этих богатых впечатлениями дней...

Днем пришел секретарь хора курсов Певцовой — от Панченки — узнать, что Люба будет читать 1 декабря за Нарвской заставой. Я просил поставить на афишу «стихотворения Майкова» и дал номер телефона, он позвонит узнать подробнее, поставит ее во II отделение, пришлет мотор <sup>146</sup>.

По телефону — с А. М. Ремизовым — о судьбе Садовского. Письмо от Садовского. Долго говорил по телефону Ивойлов, которого я, верно, действительно, не понял тогда. Сквозь чужое и трудное для меня я слышу все-таки его

высокую ноту. Позвонил Терещенко, позвал завтра на молебен в «Сирин». Я написал Боре письмо в Мюнхен с просьбой прислать роман в «Сирин».

.....

16 ноября.

Лучше дня не описывать. — Освящение к вечеру книгоиздательства «Сирин».

17 ноября.

Кое-как работал. Много всяких писем. Зашел к маме, потом бродил.

Ночью встретил Пяста, с которым довольно мрачно сидели у Переда и ели. Потом...

Письмо от С. Городецкого и ответ ему: насчет «Сирин»

18 ноября.

Завтракал у мамы — с Францем и Топой. Гулял — Гаванское поле, вдаль на фоне не то залива, не то тумана — петербургская pineta. Несказанное.

... Дома обдумывал заново пьесу, кое-что новое есть. Дважды разговор с А. М. Ремизовым по телефону — насчет газеты Тырковой<sup>147</sup>. Хорошее дело, которое некоторым образом может стать в связь с «Сирин».

.....

20 ноября.

Люба вчера утром в 9 часов, когда еще темно, приехала. Несколько разговоров в течение дня...

Сегодня днем, пока Люба ходила за своей новой шубкой, пришли мама и тетя. С. С. Петров (бывший Граль-Арельский)<sup>148</sup>. Ге — обедал. Вечером — гулянье — темная Петербургская сторона, несказанное, потом с Любой пили чай.

Телефон с Пястом (поэма в альманах «Сирина», газета), с А. П. Ивановым (заведующим художественным отделом в газете. Сообщил, что Е. Гуро—при смерти), с А. М. Ремизовым—текущие дела («Сирин», газета).

Пьесу всю переделать, разбить единство места, отчего станет напряженнее действие и естественнее—отдельные сцены. Начал план. Очень улыбается, но много работы, срок придется еще оттянуть опять.

Мама—печальная, грустная, ей тяжело. Господь с тобой, мама.

*21 ноября.*

Утром Люба подала мысль: Бертрам кончает тем, что строит капеллу Святой Розы. Обдумав мучительно это положение, я пришел к заключению, что не имею права говорить о мистической Розе, что явствует из того простого факта, что я не имею достаточной духовной силы для того, чтобы разобраться в спутанных «для красоты» только, только художественно, символах Розы и Креста. Конец судьбы Бертрама я продолжаю не знать и пишу об этом Терещенке.

Весь день просидел Городецкий и слушал очень внимательно все, что я говорил ему о его стихах, о Гумилеве, о цехе, о тысяче мелочей. А я говорил откровенно, бранясь и не принимая всерьез то, что ему кажется серьезным и важным делом.

*22 ноября.*

Утром—соображение насчет газеты, разговор с А. М. Ремизовым, которым постановлено: в субботу у А. В. Тырковой—соберемся: мы с ним, Садовской (литературный отдел, приезжает из Москвы, вызванный нами), Пяст («публицист с холодным эстетическим уклоном»), А. П. Иванов (художественный отдел), Н. П. Ге (библиография),



Княжнин (сегодня мне ответ от него большой; очень он честный). В театральный отдел выдвигаем мы с Любой— В. Н. Соловьева.

От Фаддеева из Москвы получены книги: Балабановой, Кульчицкого; Гюллистан и стихотворения К. Павловой.

Усталость. Днем пошел погулять, но, конечно, зашел к букинисту и купил книг (много и дешево). Воротясь, застал Ангелину, обедали, потом я уломал ее пойти на религиозное собрание. Она была там мила, внимательна, ее поразило все, она рада. Может быть, это принесет ей новое.

Доклад читал Никольский (профессор), доказывая (или ставя вопрос): мрачная сущность православия, которое до (приблизительно) основания Киево-Печерской лавры было иное (Владимир Святой и др.), возникла из дуализма богомилов с их учением о Сатанаиле, о том, что мир либо создан, либо проникнут злым началом (отсюда аскетизм). Возражали особенно хорошо: Мережковский (о том, что только исторический метод ведет к мертвечине, а необходимо применять «историко-психологический», хотя бы в ренановском объеме), Женья (очень понравился Ангелине), Карташев (длинная и блестящая речь с закрытыми глазами (буквально); особенно поразило меня то место, где он говорил о том, что когда все споры и противоречия будут поставлены на истинную почву и доведены до конца, только и возникнет не евангельское, а неизвестное, больше евангельского, религия Иисуса Христа).

Мама, тетя. Масса знакомых. Разговоры с Ал. Мих. [Ремизовым] и Тырковой о том, что соберемся в субботу у нее. Пяст — измученный. З. Н. [Гиппиус] — очаровательная и кривлялась, сердилась, зачем я не иду.

.....

Вчера писал докладную записку Тырковой по новой газете («Искусство и Газета») <sup>149</sup>. Обедала Александра Н. Чеботаревская <sup>150</sup>, пришедшая внешним образом с просьбой дать ей мою автобиографию и библиографию, а внутренним, я думаю, в связи с В. И. И[вановым] (хотя об этом мало говорилось). — Совещание с А. М. Ремизовым о газете и «Сирине». — Буренин разнес меня за «Шаги командора».

Вечером... тоска.

Сегодня: «Сатирикон» упорно печатает мое имя среди имен сотрудников, а у меня не было там стихов с 1907 года. Вчера Ахрамович, по поручению Метнера, очень скоро ответил мне с разрешением переходить в «Сирин». Кожебаткин устранен от «Мусагета» окончательно. Сегодня прислали из магазина Сытина предложение подписать условие и получить деньги за книжки и альманах (детское). Подписал и получил. Телефоны от А. П. Иванова, Пяста, Терещенки, Садовского. Переговоры с А. М. Р[емизовым]. Ответ Ахрамовичу. Книга рассказов от И. А. Новикова.

Письмо от \* \* — о смерти.

У Любы опять жар, простудилась. Купил ей пирожных у Кестнера и фруктов у Квинта-Сенкевича. Уют городского мрака. Страшная девочка на улице.

Александра Н. Чеботаревская прислала стихи Ал. Сидорова <sup>151</sup>.

С 11 часов вечера — у Ар. Вл. Тырковой — редакционное заседание «Русской Молвы», которая начнет выходить с 7 декабря. Присутствуют А. В. Т[ыркова], англичанин <sup>152</sup> проф. Адрианов, мы с Ремизовым и приглашенные нами — А. П. Ивзнов, Вл. Н. Княжнин, Вл. А. Пяст, Н. П. Ге и В. А. Садовской. Я читаю свою докладную записку об отношении искусства к газете и превращаюсь в какого-то

лидера. Следующее собрание — через неделю. Мою статью хотят сделать определяющей в отношении газеты к искусству. А. П. Иванов, занятый Рерихом и службой, просит пока только иметь его в виду.

Вл. Княжнин предлагает публицистические статьи (например, в связи с докладом Кондурушкина об Илиодоре), материалы по истории русской литературы, библиографические статьи, стихи и рассказы. Вл. Пястух делая себя надвое и говоря, что не умеет связать две полосы своих интересов и стремлений, предлагает говорить и на «заказанную» тему и «sub specie aeterni», в духе моей «декларации». Н. П. Ге предлагает себя в помощники А. П. Иванову по вопросам искусства, библиографии, статьи по философским вопросам. Б. А. Садовской будет иметь специальный разговор с А. В. Т[ырковой], говорил мало. В следующий раз все мы должны уже представить материал.

25 ноября.

Приглашение читать в Ярославль...

Совещание с А. М. Ремизовым, который хвалит мое вчерашнее выступление. Весь день провел у Мережковских. В пышной и неудобной новой квартире, все они милые, одинокие, печальные, холостые.

Вечером собирался к маме, но не пошел, увидав идущего туда Ад. Ф. Кублицкого... Корректурa двух книжек и альманаха для детей от Сытина.

26 ноября.

Утром зашла мама, мы опять перебили друг друга — было тяжело.— У Л[юбы] была ее сестра. Около 3-х приехал М. И. Терещенко, мы с ним поехали в «Сярин», где были его сестра и А. М. Ремизов, подаривший мне родословие Романовых и альбом оттисков деревянных досок—редкость из Костромы.

Разговор был о Штейнере и А. Белом, о «шарлатанстве», которого боится М. И., а в «Сирине» — о «Бродячей Собаке» (я горячо убеждал не ходить и не поощрять), о том, как в России не умеют веселиться. Старшая сестра не любит Достоевского, а младшая все молчит, и у нее хорошее лицо <sup>153</sup>. А. М. [Ремизов] чувствовал себя очень гадко, по-видимому, он устал. — По дороге туда и назад мы с М. И. оговорили все-таки много беспокоивших меня сиринских дел — об А. Белом, Пясте, Городецком и обо мне.

А. В. Тыркова звонила и предлагала, чтобы мы и А. М. [Ремизов] стояли за Садовским и отвечали за него и учили его. Я согласился. А. М. начинает тяготиться газетой, может быть, — от усталости.

Вечером я пошел в мой цирк, потом тихо пили чай с Любой, которая занималась разыскиваниями в книжках стихов — для чтения на вечере.

27 ноябр.

Лао-тзы: «Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек рождается, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутник смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит» (желтокровие) (эпиграф к «Скомороху Памфанону» Лескова).

Утром — мечты и планы, чем может стать «Сирин», как он может перевернуть все книжное дело в России, как надо заинтересовать Терещенку. Переговоры с А. В. Тырковой (она дала Садовскому жалованье — 200 р.) и А. М. Ремизовым.

Днем пришел Арк. Павл. Зонов <sup>154</sup>. Много о чем говорили. Он советовался со мной о репертуаре для нового

народного театра (с января — О-во Народных Университетов). Обедал.

Вечером мы с Любой на «Заложниках жизни». Браниться не хочется, скорее — напротив. Но все-таки Сологуб изменил самому себе, запутался в собственной биографии. Та, которая здесь зовется Мечтой и Лилит — в лучшие времена была для Сологуба — смертью-утешительницей, и все было тогда для него — верно и стройно. Та же, которая здесь полу-милая жизнь — была прежде «бабищей дебелой и безобразной». Женившись и обрившись, Сологуб разучился по-сологубовски любить Смерть и ненавидеть Жизнь. Однако (хотя все вследствие этого «кадетства» неверно) пьеса не оскорбительная, она — бледная, невинная (неправду говорили о динизме), печальная, первый акт — очень хороший, волнует. Говорят, ему самому на первом представлении захотелось над ним плакать.

*28 ноября.*

День усталости. Переговоры с А. М. Ремизовым, П[ястом]. Л. Я. Гуревич <sup>155</sup> и В. Н. Соловьевым. У мамы на минуточку вечером...

*29 — 30 ноября.*

Жар, десяток телефонов, книжная тоска. Вчера — обедала В. П. Веригина, а вечером Женья, с которым мы пили чай у мамы, у которой сделался небольшой припадок (сердечные нервы). Вечером у нее была Поликсена Сергеевна.

*1 декабря.*

Нет, в теперешнем моем состоянии (жестокость, угловатость, взрослость, болезнь) я не умею и я не имею права говорить больше, чем о человеческом. Моя тема — совсем не «Крест и Роза» — этим я не овладею. Пусть будет — судьба человеческая, неудачника, и, если я сумею

«умалиться» перед искусством, может мелькнуть кому-нибудь сквозь мою тему — бóльшее. Т. е.: моя строгость к самому себе и «скромность» изо всех сил могут помочь пьесе — стать произведением искусства, а произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп.

Удивительно: Городецкий, пытающийся пророчить о Руси какой-то и самохвал (влияние Вяч. Иванова), все разучивается быть художником, ему все реже, увы, удается закрепить образ просто. Напротив, Садовской, скромно остающийся стихослагателем, тем самым оказывается иногда больше самого себя. Так искусство само за себя мстит и само награждает.

Пишу Метнеру. Четыре разговора (телефонных) с А. М. Ремизовым. Пришел В. Э. Мейерхольд, обедал, хочет ставить «Песнь судьбы» на Александринке. Вопрос для меня... Телефон с мамой и Городецким. Письма.

Пора выгораживать время для своей работы, выгораживаясь из мелких дел. Сегодня не мог добиться, М. И. Терещенко, занятого своими делами, надеюсь на завтра.

Мейерхольд: он говорил много, сказал много значительного, но все сидит в нем этот «применяющийся» человек, как говорит \* \* — М[ейерхольд] говорил: я полюбил быт, но иначе подойду к нему, чем Станиславский; я ближе Станиславскому, чем был в период театра Коммиссаржевской (до этого я его договорил). — Развил длинную теорию о том, что его мировоззрение, в котором есть много от Гофмана, от «Балаганчика», от Метерлинка — смешали с его техническими приемами режиссера (кукольность), доказывая, что он ближе к Пушкину, т. е. человечности, чем я и многие думают. Это смешение вызвано тем, что в период театра Коммиссаржевской ему пришлось поставить целый ряд пьес, в которых подчер-

живается кукольность. Театр, — говорит Мейерхольд, — есть игра масок; «игра лиц», как возразил я, или «переживание», как назвал то же самое он — есть по существу то же самое, это только — спор о словах.

Утверждая последнее, Мейерхольд еще раз подтвердил, что ему не важны слова. Я понимаю это, он во многом прав. Но, думаю я, за словами стоят мнения, за мнениями — устремления ума (который Мейерхольд, между прочим, считает лишним в театре), за устремлениями ума — устремления сердца, а сердце — человечье. Таким образом, для меня остается неразрешимым вопрос о двух правдах — Станиславского и Мейерхольда («я — ученик Станиславского», — сказал Мейерхольд, между прочим).

Александринка, — говорит Мейерхольд, — творение Росси, должно вернуться к духу 30-х годов, Мочалова. Теперешние актеры (он не знает, как они живут) далеки от этого. Сам он — гастромер, свободный в выборе пьес, сроках постановок, выборе художника.

«Песня судьбы», говорит он (прошло уже четыре года, — он не перечитывал) ему представляется, запомнилась, он чувствует, что из того впечатления, которое у него осталось, в нем может вырасти нечто свое, только я должен предоставить ему много свободы.

После его ухода, я стал все больше думать, как же я отношусь теперь к этой «Песне судьбы», прошедшей столько этапов и извне и во мне.

1908 год: я читал многим, мечтал о Волоховой — Фаине<sup>156</sup>, думала и она об этом. Станиславский страшно хвалил, велел переделать две картины, и я переделал в то же лето в одну (здесь родилось «Куликово поле» — в Шахматове). Немирович-Данченко хвалил также неумеренно, но на свой пошловатый лад.

Когда я отослал рукопись, Художественный театр долго молчал. Наконец, Станиславский прислал длинное письмо о том, что пьесу нельзя и не надо ставить. Я поверил этому, иначе — это поставило для меня точку, потому что сам я, отходя от пьесы, разочаровался в ней.

Весной 1909 года, перед отъездом в Италию, она была погребена в IX альманахе «Шиповника» под музыку выговоров Копельмана за еврейский вопрос, разговоров с Л. Андреевым (и он, помнится, предлагал ставить пьесу). После Италии было лето, когда мысль и жизнь были поработаны и сжаты Италией, потом — черная осень, дынга с лихорадкой и юбилеем каким-то Маковского... потом — смерть отца, наследство — и незаметное сжигание жизни, приведшее в позднюю осень в дни толстовской кончины на тихую и далекую Монетную, занесенную чистым снегом. «Мусагет», безлюдье, бескорыстие и долготы мыслей, Пяст. К этому времени (1910 г.) — я решительно уже считал «Песню судьбы» — дурацкой пьесой, и считал ее таковой до последних месяцев, когда стал ее перечитывать, имея в виду переиздание своего «Театра» (сначала в «Альционе», теперь — в «Сирине»). Перечитывая, опять волновался многим в ней.

Буду пытаться выбросить оттуда (для печати и для возможной сцены) все пошрое, все глупое, также то леонид-андреевское, что из нее торчит. Посмотрим, что останется тогда от этого глуповатого Германа. Между прочим... В. Мережковский всегда более или менее сочувствовал пьесе.

*2 декабря.*

Весь день вилась, увивалась тоска. Бродил по пушистому снегу, обедал у мамы в глубокой тоске (архитектор Алексей Н. Бекетов, Мазурова Ольга Алексеевна). К вечеру, когда явился домой, выяснилось...



3 декабря.

Днем — масса телефонов — сквозь писание статьи к газетному вечеру <sup>157</sup>. Воздух пронзительный, хоть кричи. У мамы был припадок вчера, когда я ушел. Может быть, грудная жаба.

Зонову — Кармозина (мама, тетя). Пяст — о себе и о политике. Женя — о библиотеке Сахарова. Тыркова — о сегодняшнем вечере, о ком бы писать. С Терещенко — о балете для газеты. С А. М. Ремизовым о том, что Терещенко огорчился, узнав, что я отложил пьесу.

Любы нет дома. Прислуга — в больницу. Весь вечер — заседания в газете «Русская Молва». Много народу, чтение статей, впечатление тяжелое, неясное и жестокое...

декабря.

Свидание и разговор с М. И. Терещенко, которыми я волновался, были очень приятны и принесли много хорошего. Милое письмо от П[яста].

У мамы весь день — боль. Вечером к ней зашла Люба и облегчила ее боль.

5 декабря.

Отдых, ответы на письма, маме полегче, я у нее днем, у нее О. А. Мазурова, которая завела несчастный и истерический разговор о своих детях, и почему они маме не нравятся. Вечером — гуляю. Люба была днем у дантиста и купила себе каких-то гадких театральных книжек.

6 декабря.

Я хотел думать о пьесе и быть собою. Г-жа Тыркова вызвонила меня, заставляет сокращать эту несчастную газетную статью <sup>158</sup>. История статьи, по крайней мере, чрезвычайно поучительна и позорна. Все, что касается журналистов... должно быть исключено. Оставлено должно

быть высокопарное рассуждение об искусстве, и это, как говорится в чрезвычайно любезном письме, нужно газете! Подумаю, посоветуюсь с А. М. Ремизовым.

Днем пришел милый Женичка. Завтра его рождение—33 года. О библиотеке Сахарова—какие поразительные вещи!

Вечер—и вчера и сегодня—уличные «миниатюры» с кинематографом—живее многого театрального.

*7 декабря.*

Расстройство нервов, полотеры. Ответ от Бори, наконец—длинный о романе и о «Путевых заметках». Письма. У мамы был доктор Грибоедов. Вечером мы с Любой в «Кривом Зеркале».

У букиниста в Александровском рынке купил 50 книг по 20 коп. (в том числе—сороковых годов—русское).

*8 декабря.*

Утром думал о пьесе, днем обсуждал ее с мамой и тетей. Письмо от Метнера. Люба—вечером у Веригиной. На религиозно-философское собрание не пошел.

Писать отказы гг. Аверченко, Лядкому и Бенштейну (А. М. Ремизов) <sup>159</sup>.

*9 декабря.*

В «Русском Слове»—объявление о выходе моих детских книжек. В «Русской Молве» (№ 1) мое стихотворение <sup>160</sup> и моя искалеченная статья. «Тропинка»—последний (и вообще последний) №—с моими стихами <sup>161</sup>. Днем приходил художник—рисовал меня очень плохо (для «Новой Студии»—журнальчик). Длинный разговор по телефону с Э. Н. Гиппиус. Журнал «Маски»—№ 2. После всего этого,—конечно, нервы, пора кончать день, а дня—не было.

... Вчера и сегодня—новый план «Креста и Розы»...

10 декабря.

Пишу 1-ое действие (третья редакция). Люба на репетиции «Евгения Онегина» — «Музыкальная Драма», по звала ее Шура Никитина, которая служит секретаршей в журнальчике «Новая Студия», а муж ее — Бихтер — дирижирует в этой опере).

Пока я шлялся вечером, у Любы был Женичка. Рассказывал между прочим о «побоище» между Мережковским и Струве на последнем религиозно-философском собрании.

11 декабря.

У меня днем — А. И. Тиняков, потом я в «Сирине» — с Ремизовым и Ивановым-Разумником. Любу не вижу целый день — у нее бесконечные дела, касательно братьев, которым все еще не видно конца. Обедал я у мамы, вечером с ней — в «миньятюре».

12 декабря.

Утро — зря. Днем — в «Тропинке». Люблю Поликсену Сергеевну, чувствую Наталью Ивановну, но остальные... Очень устал нервно, уснул вечером как-то по-особенному. Просыпаюсь — вместо снега — опять дождь. Приехал к Терещенко в 11-м часу, сидели до  $1\frac{1}{2}$  3-го с ним и с сестрами (говорили о моей пьесе, о Боре и о Штейнере). Не пошел — ни сопутствовать всем им в покупке библиотеки Сахарова (редкая, но немного специальная, говорит М. И. Терещенко), ни к Э. Н. Гиппиус, которая звала меня помогать проводить время с Вл. Гиппиусом.

14 декабря.

...Третьего дня вечером у мамы был припадок, и вчера ей было очень скверно. Я был у нее вчера днем. Потом — покупки под дождем, Морская. Вечером — пришел к нам Ник. Ив. Кульбин, принес нам цветов, очень хороших.

Мы долго сидели и говорили. Я не чувствую к нему полного доверия, но многое из того, что он говорил, было очень верно и очень мне нужно. Он рассказал историю Давида Бурлюка; говорил о художественной гигиене, о том, что художнику надо знать чужие отрасли искусства, естественные науки, нельзя засиживаться. От засиживания в своем месте, на которое посажен «призванный», приходит «собачья старость». Рекомендовал к аристократизму прибавить «дворянячки». Тщетно восстановлял в моем мнении «Бродячую Собаку», кой-что я принимаю, но в общем — мнение мое непоколебимо.

Затягивание истории и Ляцким и «Современником», еще одно письмо г. Ляцкому. Пяст звонил, с ним что-то тяжелое. На-днях он говорил по телефону, что надо прежде всего «сделать главное» (это о детях и жене) Просит позвать его, когда у меня будет Женичка.

... Вечером мы с Терещенкой и его сестрами и А. М. Ремизовым были на первом представлении «Профессора Сторидина» Андреева. Успех пьесы. При всем, что об Андрееве известно, в пьесе, особенно в третьем акте, есть настоящее.

.....

15 декабря.

Кое-что пьеса, вдохновение «вообще». У мамы. Цирк (звери Дурова)...

16 декабря.

Утром писал первое действие.

.....

Потом — Ангелина звонила по телефону, взволнована, просит пока не посылать повестки на религиозно-философское собрание, что-то у них детсяя, мамаша ее, вероятно, ее преследует серьезно. Не могу представить себе, как

в действительности происходит. На предложение Ангелины прийти к ним, и письменное и устное, хотя всегда с оговорками, — я твердо молчу, сознательно. В следующий раз надо будет сказать ясно. Все еще не знаю, прав ли я.

Еще по телефону — с Тырковой, просила стихов и приглашала к себе в деревню.

Планы, планы. — Величайшая тема нашего времени «Чортова кукла»<sup>162</sup>. Телефон с Мережковскими — долгий. Сначала с Д. С. — он просит написать 20 — 30 строк о Смерти Александра («я, говорит, эту главу люблю»). Потом с З. Н. — о «Чортовой кукле», о «Профессоре Сторицыне», о журналах, о В. Б. Гиппиус. Потом с Д. В. Философовым — он будет полемизировать со мной в «Речи» по поводу «эстетики» «Русской Молвы»<sup>163</sup>. Советует прочесть письма Суворина к Розанову (издал в «Новом Времени» Розанов).

Обедал у мамы. Вечером — большое письмо (двойное) от Бори из Берлина.

Много мелких дел еще предстоит.

.....  
17 декабря.

Тягостное утро, одиноко, тоскливо, ничего не выходит. Холодные телефоны\*. Днем — мама. Поехали с ней в таксомоторе к Ивановым. Праздновали именины Женички (вместо 13-го), обедали и весь вечер были. Было очень хорошо. Сестры Дюковы, братья с женами... Вера очень хорошеет, красивая.

Терещенко сегодня в Москве — говорит с Метнером?

.....  
\* Придется предпринять что-нибудь по поводу наглежащего акмеизма и адамизма. (Сноска Ал. Блока).

18 декабря.

«Безделье». Утром — альманах от Сытина и возражение мне Философова. Мама завтракала, не была у меня с болезни. Вечером от 6 до 1 часу ночи — Н. П. Ге, я читал ему поэму, которую не открывал с Верховского, ему и мне понравилось, особенно — об отце и вступление <sup>164</sup>. Война — хуже. .

.....

19 декабря.

День начался значительнее многих. Мы тут болтаем и углубляемся в «дела». А рядом — у глухой прачки Дуни болит голова, болят живот и почки. Воспользовавшись отсутствием «видной» прислуги, она рассказала мне об этом. Я мог только прокричать ей в ухо, что, «когда барыня приедет, мы ее отпустим отдохнуть и полечиться». Надо, чтобы такое напоминало о месте, на котором стоишь, и надо, чтобы иногда открывались глаза на «жизнь» в этом ее, настоящем смысле, такой хлыст нам, богатым, необходим.

Утром после этого — ответ Философову, прерванный на самом интересном месте. Иду в «Сирин» (М. И. Терещенко, А. М. Ремизов, Пелагея Ивановна, Елизавета Ивановна, Иванов-Разумник, Сергей Яковлевич <sup>165</sup>, художник Чехонин...). Разговоры и болтовня. П. Е. Щеголев убеждает по телефону вернуться в «Современник» (в «Сирине»).

Обедал у мамы — вечером у нее тетя и В. М. Латкин. К 10-ти вечера иду к М. И. Терещенко (там А. М. Ремизов, Нерадовский, Иванов-Разумник). Потом... \* \* \*

Накопились мельчайшие делишки...

.....

20 декабря.

День изнеуряющий: рассылка стихов к Рождеству, ответ Философову для «Русской Молвы». М. И. Терещенко с сестрами уезжает за границу на виллу матери Magirosa (Cannes). До 10 января я должен ему телеграфировать туда о том, что пьеса кончена!. Иначе — скандал. Около 25 января здесь будет Метнер, и будет разговор по поводу Андрея Белого и меня — в «Сирине».

Вечером — доклад Философова в религиозно-философском собрании. Я не пойду туда, я почти уже болен от злости, от нервов, от того, что меня заваливают всякой дрянью, мешая мне делать то, что я должен сделать.

21 декабря.

Неделя, как Люба уехала.

Изнеможение, кое-что о пьесе есть, кое-какие дела. Вечером — Женя и Пяст — о моей пьесе, о важном, после — П[яст] о своей семье. От Мейерхольда книга — о театре.

.....

22 декабря.

Утром — кой-что о пьесе, за завтраком — мама, обедал у мамы, вечером... — Без меня принесли книги от переплетчика, «Золотое Руно» встало в 50 рублей (5 том. по 6 р. и 4 по 5)...

23 декабря.

В «Русской Молве» мой ответ Философову. Разговор с А. М. Ремизовым и З. Н. Гиппиус — по телефону (З. Н. довольна ответом). От мамы — у которой обедал и вечер с тетей — телефон с Д. С. Мережковским. Страшно хвалит меня за статью, говорит, что она хорошо написана, что у меня есть «критический стиль». Ясность. Был у

Теляковского и рекомендовал ему в пятое (вновь учрежденные) члены литературно-театрального комитета в Петербурге (Александринский театр — Мережковский, Котляревский, Батюшков, Морозов)... меня! Убеждает, что дело хоть и маленькое — общественное и надо согласиться...

Буду думать. Или скорее не буду думать, вероятно, все будет против меня, дай бог, не хочется очень: еженедельные заседания!

24 декабря. Сочельник.

Утром... получаю на почте свои сытинские книжки. Тоска, тягость, «чорт перед заутреней». Надев новую визитку из английского магазина, иду в «Сирин» (Иванов-Разумник и А. М. Ремизов), оттуда едем с А. М. Ремизовым к нему, Серафима Павловна поит меня чаем и кормит ветчиной. Они поехали вдвоем в Казанский собор, а я один к маме на елку. Подарки, Топушка, маме плохо...

*Рождество.*

...Посветлее.

О пьесе кое-что.

Пришел \*\*; взволнованный. По всей вероятности, на днях будет предпринято нами с доктором (Семенов с Удельной) путешествие в Куокалу. \*\*, вероятно, по-настоящему больна, ее надо увезти в больницу, а детей поместить отдельно. Бедный и милый \*\* — взволнован совсем — расстроен. Действовать так или иначе пора. Я дал ему денег.

Усталость. Вялость. — Обедал у мамы (тетя, Франц). Маме — отчаянно скверно. Душно. Потом — гуляю. Вернувшись к чаю, нахожу письмо от Любы — усталое.

К Новому году она думает приехать.



«Налетели» «Труды и Дни» с А. Белым, Вяч. Ивановым... Влюбленное письмо от \* \*. Мама, узнав, что еду в Куоккалу, пришла в ужас, был припадок. Говорит (по телефону), что не лъзя ехать, не лъзя вмешиваться в дела мужа и жены, у нее — предчувствие. Верно, — права, и я согласился от вялости и усталости. Завтра поговорю с ним.

Муть на сердце.

.....  
Ночью — пьеса. Написал новый конец.  
.....

*26 декабря.*

Ехать в Финляндию не пришлось, сама жизнь вступилась. Днем у меня мама. Кажется, вся пьеса ясно встала предо мной.

*27 декабря.*

Утром — две новые сцены для «Розы и Креста». Тьма телефонов (А. М. Ремизов, Верховский...). На собрание «Русской Молвы» сегодня не иду. Д. С. Мережковский передал по телефону, что Котляревский тоже рекомендовал меня Теляковскому, что может случиться, что я попаду в число 4-х членов (Котляревский уйдет). После завтра пойду к Мережковским. Сегодня «Шиповники» обсуждают с З. Н. [Гиппиус] собрание ее сочинений. Пишу письма.

Днем — зашел \* \*; мама была совершенно права. Ясно — и из его слов теперь, — что: \* \* совершенно другой человек без него, их сочетание создает, очевидно, настоящую душевную болезнь (две истерии). Ему, вероятно, надо совсем отойти. А детям, вероятно, лучше все-таки с ней, чем с ним.

Усталый, «гордый», «неприятный», — такой он теперь часто. Трудно ему жить бесконечно. Милый. — Обедаю у мамы. Вечером у нее Женя...

28 декабря.

Утром писал я пьесу.

Разговор с мамой и А. М. Ремизовым по телефону. Днем купил у букиниста (Семенова) — «Исторические галереи Версаля» (40-е годы — 9 томов в 10-ти переплетах) за 7 руб. и 2 тома Грановского — за 2 руб. После обеда зашел к тете, где сидели с мамой.

Телеграмма от Мих. Ив. Терещенко — очень хвалит мою статью (ответ Философову). Книга от Heiseler'a <sup>166</sup> (а недавно — от Вальтера <sup>167</sup>), к стыду своему и прочести их не умею.

Прислуга Дуня больна. Вчера возили в больницу, позову доктора...

29 декабря.

Сегодня день рождения Любы. Ей принесли цветочки, сирень, гиацинты, я вчера заказал. Но беленькие заячьи уши к вечеру уже завяли.

Дописывал стихи вяло, потому что в 6-му часу пошел к Мережковским. Им очень скверно. З. Н. совсем слаба и больна. Дм. С. о комитете. Если он уйдет, то и я с ним (если — буде! — меня вздумают назначить) (дело уже доходит до министра двора, Теляковский согласен). В январе Мережковские уезжают за границу.

Собственно, важный был разговор, хоть и вялый. За обедом — так болтали. Но последнее слово, которое сказал мне Ф[илософов], было, что все должно сделаться, как я говорю («без педагогики» сказать все), но делается это не словесно, а жизненно, и не надо думать — как. Знаков к тому много.

В 10-м часу поехали мы с Философовым к Ремизовым, там елка горела, пили чай и наливку, были Верховский, Одинокий и Ф. И. Щекалдин <sup>168</sup>. Устал я под конец страшно, ушел, попал в трамвай, встретившись

в нем с Л. Я. Гуревич. Едет, с дочкой, совсем  
больная.

Без меня что-то заходил Мейерхольд.

Завтра буду писать.

.....

30 декабря.

Люба сегодня едет.

Устал бесконечно, скверно сплю. Телефоны: Мейер-  
хольд — приглашает Теляковский к себе 1 января в 5 ч. дня.  
(«Песня судьбы», новая пьеса (!), комитет).

Мама (вчера была на «Проф. Сторицыне» — в ужасе),  
Ю. Верховский, Аничков (письмо от m-ше Аничковой,  
1 января зовет нас с Любой к себе на сеанс медиума  
Яна Гузика).

Бездельничая от всех этих телефонов.

.....

Вечером — гулял, пил чай у мамы — Франц, тетя, Е. О.  
Романовский <sup>169</sup>.

31 декабря.

Утром — я еще не встал — пришел А. Я. Цинговатов,  
учитель гимназии в Ростове н/Д. — «поклонник», читал  
свои стихи. Я его спровадил.

Пока гулял, приехала Люба, растерянная, с дороги.  
Умывается.

Письма: от Аносовой — стихи, от \* \* поздравления  
с Новым годом.

Разговор по телефону с А. М. Ремизовым и Аничковым.

Вечером — пойдем к маме — встречать Новый год.

Ты все, что сердцу мило,  
С чем я сжился умом;  
Ты мне любовь и сила...  
Сди безмятежным сном,

.....  
Ты мне любовь и сна,  
И свет в пути моем;  
Все, что мне жизнь сулила...  
Спи безмятежным сном.

.....  
Все, что мне жизнь сулила  
Напрасно с каждым днем;  
Весь бред молодого пыла...  
Спи безмятежным сном.

.....  
Судьба осуществила  
Все в образе одном,  
Одно горит светило —  
Спи безмятежным сном.

*(К. Павлова).*

У мамы — елка, шампанское, кушанье. Было уютно и тихо. Сюрпризы в ящичках с гаданьем — мы с Любой получили одно и то же — смеяться. Тетины подарки — Любе — кипсэк, мне — Баратынский. В яйце, кроме того, у Любы — часы, а у меня — мешок для денег. Пришли поздно домой, тихой улицей.

Маме было полегче немного, Люба была в белом платье, пила шампанское и ликер, шутила с Топонькой.  
Дай бог светлого на Новый год.

---

**ДНЕВНИК 1913 года**



1 января.

... Мама первая позвонила по телефону, едет поздравлять Ивановых, ей сегодня недурно.

В прошлом году рабочее движение усилилось в восемь раз сравнительно с 1911. Общие размеры движения достигают размеров движения 1906 года и все растут. Оживление промышленности. Рост демократии.

Люба едет к Веригиной — разговаривать о «Враче своей чести», которого они хотят ставить в Тенишевском зале с Мейерхольдом <sup>170</sup>.

В 5 ч. пришел я к директору императорских театров Теляковскому. Сидели там с Мережковским и Головиным часа 1½. Директор — благодушный, невежественный, наивный и слабый. Все говорит о том, почему людям жить плохо, о вреде цивилизации, о том, что в моторах ездят те, кому некуда торопиться, о вегетарианстве, о потере своей невинности. Выспросил меня подробно о «Заложниках», о «Сторицыне», о «Дон Жуане». О «Песне судьбы» — читал отрывки — мы с Мережковским объясняли. Я сказал, что в том виде, в каком пьеса существует, я ей недоволен. Советовал Ибсена, Стриндберга. Д. С. Мережковский рассказывал, что Орленев будет играть в Париже Павла <sup>171</sup>.

Теляковский — приятель Черткова и Трепова (и Шалыпина). Такие сочетания бывают в России. Тоже, пожалуй,

только в России бывает, что Трепов в пору своего полицмейстерства прячет у себя бумаги Черткова и тщетно просит того взять их у него. Полный хаос: с одной стороны — тяготение к Горькому (через Шалапина). Тут же вьется умная и красивая лисица — \* \*.

Разговоры о комитете и о «Песне судьбы» оставлены пока до следующего раза. Д. С. [Мережковского] я проводил до Моховой с Россиевской площади — резкий ветер, холод.

Пообедав, мы с Любой поехали в такси-оте к Аничковым. Собрание светских дур, надутых ничтожеств. Спиритический сеанс. Несчастный, щедушный Ян Гузик, у которого все вечера расписаны, испускает из себя бедняжек — Шварценберга и Семена. Шварценберг — вчера был он — валает столик и ширму и швыряет в круг шарманку с секретным заводом. Сидели трижды, на третий раз я чуть не уснул, без конца было. У Гузика болит голова, надуваются жилы на лбу, а все обращаются с ним, как с лакеем, за сеанс платят четвертной билет. Первый раз сидел я, сцепившись пальцами с жирной и сиплой светской старухой гренадерского роста, которая рассказывала, как «барон в прошлый раз смешил всех, говоря печальным голосом: дух, зачем ты нас покинул?». Одна фраза — и ярко предстает вся сволочность этой жизни. Аничковы живут на Каменном острове, на даче Мордвиновых, при уюте — неуютно. Кулисы — клянчанье авансов, и пропуски всех сроков в уплате жалованья \* \*. Машина для записывания разговора, для которой не могут найти переписчицы. Во время сеанса звонил Куприн, а Аничков ему ответил, что сеанса нет, — потому что он всегда пьян и нельзя его пригласить в общество светской сволочи. Сволочь то во сто раз хуже Куприна. Люба бранится страшно.

В \* \*, плохо говорящем по-русски, носящем на гимназическом мундирчике дедовскую медаль 12-го года, заста-



вляющем слушаться духа и читающем мои стихи — есть что-то хамское. Мать Аничкова — хорошая, прямая старуха с живым лицом.

Второй и третий раз я сидел между Любой и Пястом.

Вот — жизнь, ни к чему не обязывающая, «средне-высший» круг. У \* \* \* было, пожалуй, в этом роде, хотя подлиннее, значительнее, потому что графиня не аристократка, привыкшая к парижским растакуэрам. М-ме Аничкова все-таки крупнее своих знакомых дам и подлиннее их; не то они — кокетки, не то — кухарки; и барышня с соблазнительной мордочкой и знаком Изиды на груди; мерзко. Бедный Аничков.

Ремизовы не приехали и хорошо сделали, расстроились бы. Мы с Любой уехали в 3 часа ночи — опять, разумеется, в такси, подвезли Пяста и «молодого» человека с масляной рожей. Бессмысленное времяпрепровождение ведет к бессмысленной трате денег. Вернулись — усталые.

Директор театров выпытывал у меня о «Розе и Кресте». Об этом ему разболтали Мережковский и Мейерхольд, а мне — неловко перед М. И. Терещенко. От него поздравительная телеграмма — из Лондона — вот рыщет по свету! — Поздравительная телеграмма от Руманова — с желанием скоро встретиться и благодарностью за детские книжки, которые я ему послал.

Опять Н. Фан-дер-Флит<sup>172</sup>. Поздравляет с Новым годом.

2 января.

Сегодня — оскомины после вчерашних лжей и омута на сердце. Днем — в «Сирине», Ремизов, Разумник, все смута. А. М. Ремизов бранит Брюсова, говорит, что романы его — «просто ничто», хочет хлопотать о том, чтобы издал «Сирин» полное собрание Гиппиус («если уж Брюсова»). Вернулся — письмо от Бори — двенадцать страниц

писчей бумаги, все — за Штейнера; красные чернила; все смута.

Люба вечером у Веригиной. Мейерхольд не хочет играть с ними (ставить «Врача своей чести»), говорит — гонорар мал.

Засяду эти дни, доработаю, необходимо, станет все яснее.

*3 января.*

Днем у меня мама. Люба днем покупала себе зеркало и занавески, а вечером — к своим. — Сонливость, безделье. Отоспаться и работать.

*4 января.*

Сон тревожный. IV действие «Розы и Креста». В 4 часа дня — \* \*, читал свои стихи — любительские, для себя. Бедный: рыжий, толстый, старообразный, а сам — ровесник Сережи Соловьева — 27 лет. Обстоятельства не позволили остаться при университете (Моск., филол.), учитель русской словесности в Ростове на Дону, кормит жену и ребенка... «А вы пьете?» — Нет, не влечет, хотя отец пил. Вот самоубийством «это» может кончиться. Он приехал из Ростова «увидеть всех», был у Розанова, Сологуба, Кузьмина, в «Сатириконе» у Потемкина...

Вечером принес Любе, которая сидит дома в уюте, горлышко побаливает, шоколаду, пирожного и забав — фейерверк: фараоновы змеи, фонтаны и проч.

*5 января.*

Днем я заходил к маме — там была Ася<sup>173</sup>. Ночью долго не спал. «То сирена кличет с далеких камней — плач забытых теней — берег смытых дней — — —» (Вяч. Иванов). — Люблю это — мрак утра, фабричные гудки, напоминает...

Резкий ветер, бесснежный мороз... Пока я гулял вечером, горничная принесла письмо со стихами с Пушкинской улицы (в том же доме, где «Сирий»). Повидимому, женщина, автор, читала Фета, классиков... меня... Письмо хорошее, вежливое, в стихах есть старинное, простое, но в общем слабо, банально, несмотря на удачные выражения. Чувства настоящие.

6 января.

Ужасный сон, ужасный день.

Обедали у мамы с Любой (тетя, Е. О. Романовский). Вечером — забрели с Любой в кинематограф в дом Коммиссаржевской. Перелagal в стихи некоторые новые сцены «Розы и Креста».

7 января.

День мучительный — болен. Пишу почти целый день. Ссорюсь с Любой. Написано все — только несколько еще «ударов кисти» и монолог Изоры с призраком. На ночь читаю Любе, ей нравится и мне. Успокоение.

8 января.

Мама была у меня весь день. Вечером — кабачок смерти в кинематографе и такая красавица в трамвае, что у меня долго болела голова. Похожа на Изору.

Ремизов болен, лежит.

9 января.

Утром — написал последнюю сцену — Изора, ее монолог. Остается только отделка. Послал телеграмму М. И. Терещенко.

Днем — гулял. Болят десны, скоро замучиваюсь, сонливость...

Вечером были у нас: \* \* — измучен женой и детьми, но светлее, лучше, чем последнее время. Женичка, возбужденный, пишет доклад в религиозно-философское собрание. Юрий Верховский — притихший, милый

\* \* \* говорил о необходимости кружка, мы спорили, разные языки, в нем много обывательщины.

У Ремизова оказался грипп. Серафиме Павловне опять хуже. — Поликсена Сергеевна была вечером у мамы, хочет посвятить мне стихотворение в новой книжке. — Мережковский через Женю передает мне привет, пишет обо мне статью. Слухи о приезде Вячеслава Иванова.

Большие забастовки и демонстрации.

10 января.

Утром — ответная телеграмма от М. И. Терещенки. Разговоры с Женичкой, который писал всю ночь, а потом пошел в Лавру на могилу В. Ф. Коммиссаржевской (по десятиым числам...).

Днем пришла Ангелина, обедала. При ней М. Ф. Гнесин<sup>174</sup>, на минуту к Любе — за «Финикиянками». Я опять неприметно измучился. Вечером — Люба в концерте, где исполняют Гнесина (с Веригиной?) (Нет, в кинематографе — вернулась, вместе чай пили).

Жестко мне, тупо, холодно, тяжело (лютый мороз на дворе). С мамой говорю по телефону — своим кислым и недовольным голосом и не могу сделать его другим. Уехать что ли куда-нибудь. Куда?

Ангелина принесла нам прочесть свои стихи — плохие, с хорошими девическими чувствами.

С Ремизовым говорили хорошо, я советовал д-ра Грибоедова для Серафимы Павловны. Оба мы с ним больные. ...Трудная зима.

А. М. Ремизов сообщил между прочим, что Садовского выгнали из «Русской Молвы», он относится к этому добродушно — есть Чацкина<sup>175</sup>.

11 января.

Письмо М. И. Терещенке и ответ авторше повести в стихах «Венок». Днем — у мамы (О. А. Мазурова)

Десны. Вечером — получил молитву, которую на-днях получила и разослала девяти лицам \* \*.

12 января.

Переписка, переделка, спячка, десны замучили. Люба днем поздравляет тетю (подарила тарелки, цветы от меня), вечером — у Веригиной. Я вечером захожу к тете часа на полтора. — Гушины, Е. О. Романовский, Вастен, Федорович<sup>176</sup> — уютно, мило. Уехали с мамой — в ванны.

Телефон с Ге (хотел прийти, я не пустил), Александрой Николаевной Чеботаревской (у А. И. Ремизова воспаление левого легкого — она говорила от него). Вячеслав Иванов не приезжал, переводит в Риме Эсхила. Предполагаемое общество «Ревнителей Художеств. Слова» — мне надо сложить с себя полномочия.

Впечатления последних дней.

Ненависть к акмеистам, недоверие к Мейерхольду, подозрение относительно Кульбина.

Ангелина «правеет» — мерзость, исходящая от м-ме Блок на ней отразилась.

«Русская Молва» — хорошее впечатление от статей вокруг 9 января. Яремич. Хорошо, что Садовского выгнали, он не умеет, многого не понимает.

П. С. Соловьева — ее стихи, будущий доклад ее и Женички. Женичка и 1905 г. — большое место, чуть-чуть, но большое.

Скоро начинать видаться с людьми, кончать пьесу и все с ней связанное...

Надо ли выбирать между Коммиссаржевской и Мейерхольдом? Все такое скоро придется решать...

13 января.

Припоминаю, что говорила Ангелина. Понимаю, отчего было так тяжело... Вот «букет»:

Увидав, что при «Ниве» Леонид Андреев и пр. — они перешли с «Нивы» на «Исторический Вестник». — Жизнь идет своим путем и загоняет мокриду постепенно во все более и более зловонные ямы. Я бы только радовался этому, если бы жертвой не была моя сестра.

Руссо есть опасная революционная величина. Об «Эмиле» говорится не без трепета. Мережковский — под подозрением: его смех и как он подает Гиппиус пальто. Хорошо, верно, но... что из этого последует?

Верховая езда с этим карликовым артиллеристом в манеже «по-мужски» и «балы во второй бригаде».

Болтовня о подругах — ничтожнейшая — с подробными биографическими сведениями, как принято в захолустьи. «Вышла замуж, чахотка, муж офицер...».

И рядом: «преосвященный Гермоген»... Что будет с девушкой, которая растет среди таких сумасшедших? — Или — махнуть рукой?

Бесцельный день. Вечером — пил чай у мамы.

15 января.

Деснам полегче. Вчера днем переписывал пьесу, вечером пошел в оперетку. Почти все бездарно и провинциально, в России вывозит обыкновенно комик. Примадонна (Погопчина) бесстыдна не художественно, а более житейски. Все-таки — хорошенькая, а в театре, — красивые женщины.

Сегодня днем у меня была мама. А. М. Ремизову получше, температура нормальная. Серафима Павловна видела сон о нашей квартире, который он записал. — Вечером я в «Нюрнбергских мастерзингерах». Очень устал. Все — «штатское» — и пенie. Все-таки плаваешь в музыкальном океане Вагнера.

Как жаль, что я ничего не понимаю.

16 января.

Под напевами Вагнера переложил последнюю сцену в стихи. Днем, едва собрался в «Тропинку» с мамой, пришел Александр Васильевич Гиппиус. Милый, хороший болтали, обедал. О братьях его.

Письмо от А. М. Ремизова. Телефон от Садовского. Телефон с Пястом. С мамой.

Люба думает о кружке, завтра они собираются у мамы<sup>177</sup>. К ней утром пришли родственники — Надежда Яковлевна Губкина. Не знает она, что делать, как жить, не живет, тяжело было бы, если бы не так сонно.

17 января.

Завтрак у мамы. Дописываю (переписывая) четвертое действие. Обедала Веригина. Вечером у мамы — собрание, на котором я не присутствую (Люба, Бычковы, Женя, Бонди.....). Мама по телефону (ночью) хвалит, я тоже начинаю верить, что Любе будет легче среди хороших людей.

А. М. Ремизов слаб, больше лежит. Советую Серафиме Павловне д-ра Грибоедова, который был сегодня у мамы, не похвалил ее состояния и опять предлагал внушение («8 сеансов — на всю жизнь»).

Письмо от В. Сытина с предложением дать стихи в весенний альманах «Вербочки».

20 января.

Вчера — кончена «Роза и Крест».

Телеграмма от М. И. Терещенки, который приезжает в среду. Обедала у нас очаровательная Л. Б. Рындина<sup>178</sup>. Вечером — религиозно-философское собрание. На доклад П. С. Соловьевой мы с мамой опоздали, остальное было мучительно: Женя запутался, Карташев его выругал. Масса знакомых, разжижение мозга. Метнер, Руманов. Присутствовала Вера [Дюкова].

После пили чай у мамы.

Сегодня — утром разговор с мамой, потом звонила П. С. Соловьева, долго говорила о «деле», о котором говорил Карташев, о Жене соболезновали, о любви к Мережковскому, о том, что надо делать. Если не могут указать дела, закрывать религиозно-философское общество, говорит П. С. Соловьева...

У нас обедал Метнер, ушел около 11-ти час. вечера. Люба вечером была в уборной у Рындиной, мы с М[етнером] долго говорили...

О «человечности» Гете, у которого были все возможности «улететь», но который не улетел, работая над этим тяжело и сознательно. Не ускорять конец (теософия), но делать шествие ритмичным, т. е. замедлять (культура). О Боре и Штейнере. Все, что узнаю о Штейнере, все хуже. Полемика с наукой, до которой никогда не снисходил Ницше (который только приближал науку, когда она была нужна, и отталкивал, когда она лезла не туда, куда надо).

В Боре в высшей степени усилилось самое плохое (вроде: «я не знаю, кто я» . . . . «я, я, я . . . . а там упала береза») . . . Материальное положение Бори («Мусaget», М. К. Морозова и «Путь», провал с именем). Неумение и нежелание уметь жить. Иисус для Штейнера, — тот который был «одержим Христом» (?).

Скверная демократизация своего учения; высасывание «индивидуальностей». Подозрения, что он был в ордене (Розенкрейцеров) и воспользовался полученным там («изменик»). Клише силы.

Изобретение Скрябина: световой инструмент — рояль с немymi клавишами, проволоки от которых идут к аппарату, освещающему весь погруженный во мрак зал в цвета, соответствующие окраске нот. Красное до для



Метнера — белое. Зато ми у всех (и у Скрябина, и Римского-Корсакова, и у Метнера) — голубое.

«Секта» искони (с перерывами) хранящая тайную подоснову культуры (У панишады, Geheimlehre — Аренаг, связанный с Элевсинскими мистериями).

Я возражаю, что этой подосновой люди не владеют и никогда не владели, не управляли.

Несколько практических разговоров о «Мусагете», «Сирине», Боре и мне.

Рассказал «Розу и Крест». Просит для брата песню Гаэтана. Заинтересовался.

Говорил о «Песнях Розы и Креста» Брентано и о «Составлении псевдов» Гофмана («Серапионовы Братья»).

21 января.

Днем у мамы. Мягкий снег...

22 января.

Телефон с А. Н. Чеботаревской, А. М. Ремизовым...

Я днем читал «Розу и Крест» маме (тетя, О. А. Мазурова). Всем понравилось.

Кульбин принес эскиз занавеса. Красивый. Сам сидел на диване. Усталый, я почему-то иногда чувствую его уют...

Мама и Франц слушают «Онегина» (г. Собинов). Мама говорит — бездарен до смешного...

23 января.

Приехал М. И. Терещенко, был у Андрея Белого в Берлине. Мы условились, что я завтра приду в «Сирин». Вечером у меня — \*\*, хороший разговор обо многом. Дети уже взяты им, жена его — острый психоз, надо в больницу, пока не хочет.

Люба ночью — в «Бродячей Собаке» — «лекция» Ауслендера, хочет возражать Веригина.

Поздно ночью ушел \*\*...

24 января.

В 3 часа приехал в «Сирин», туда же приехал Терещенко с сестрами, потом — Иванов-Разумник. Сидели долго. Метнер звонил туда мне. \* \* не очень понравился М. И. Терещенко (опять, как и о \* \*, отмечает «юркость»), но говорит — умный. Потом мы с М. И. Терещенко поехали к А. М. Ремизову, сидели там, потом он отвез меня до себя, а от него меня довез его шофер. У Любы уже была Веригина. Они пошли на свое собрание к маме. Все было хорошо, но кончилось припадком мамы (Люба что-то запела). Раскаивается.

25 января.

Телефон от Зонова — «Кармозина» идет в марте. Утром — телефон — волнующийся голос. Курсистка Валентина (?) Ивановна (?) Левина — до меня дело, больна, чтобы я пришел. Прихожу днем, неожиданно для нее, 6-й этаж, (Архиерейская, у Каменноостровского), грязь, вонь, мрак... красивая прозрачная еврейка (дворник сказал имя) — дед, польское восстание, ящик рукописей, не знала — куда, польское общество закрыто, печатать, часть переведена (с польского)... Не знаю, при чем я и что все это значит.

Вечером должен был читать Терещенкам «Розу и Крест», но они разболелись. Пил чай у мамы, которая давно простужена. Тихо. Топушка — шалун, уносит туфли и галоши. Минуло полгода...

29 января.

Дни для меня значительные. 26-го сидели с Терещенками в «Сирине». У Любы вечером была Муся, которую и я застал. 27-го — тяжкая оттепель, весь день тяжело — к маме. Вечером читал «Розу и Крест» у Терещенок (им троим). Бог знает, чего мне наговорили. Понравилось очень, видно, что по-настоящему. Все вместе

вышли и поехали. Вчера записал тетю и себя в союз драматических писателей и делал всякие денежные дела.

Сегодня — рождение Франца, но у него весь день «военная игра».

Стригу до поздней ночи стихи, подготавливаю новое издание<sup>179</sup>. Стрижешь, а мысли идут. Прервал какой-то господин Миронов (муж О. М., сестры К. М. С.? 180) — устраивает вечер памяти В. Ф. К[оммиссаржевской]. Я отказался и резко выбранил всех участников.

Заходил в Пол. Серг. Соловьевой — по поводу вечера, где мы с ней будем читать стихи Вл. Соловьева, а какие-то актеры — ломать «Белую лилию» (Наталья Ивановна Манаскина просила меня от В. П. Тарновской). Вечером — в «миниатюре» на Английском пр., а Люба — у Веригиной. Телефон с мамой и М. И. Т[ерещенкой].

С Любой ссорились (из-за актерства и Мейерхольда) со вчерашнего вечера. К вечеру помирились...

Непоправимость всего, острая жалость ко всем. К \* \* \* в синей визиточке — косой, трудится. К Мейерхольду — травят. И Терещенки, и Ремизов, и мы...

Мама была вечером в кинематографе с Францем.

*31 января.*

Вчера — днем у мамы (с тетей). Вечером у А. М. Ремизова, читал «Розу и Крест» (Терещенки, Серафима Павловна, Зонов). По тому, как относятся, что выражается на лицах, как замечания касаются только мелочей, вижу, что я написал, наконец, настоящее. Все остальное — тяжело, трудно, нервно. Что будет с пьесой дальше, — не знаю.

Замечания: М. И. Т[ерещенко]: короткий монолог Бертрана (4-я сцена 4-го действия) «дописать» — обновить. «Встать на плечи» — «чуть-чуть противно», но «так

он и должен». Все — «из одного куска». В горле щечочет. Брань актеров, Андреева, \* \* и мн. др. (изнервлен, сегодня уехал в Cannes по каким-то делам).

Е[лизавете] И[вановне] нравится, молчит, видно по лицу.

П[елагея] И[вановна] — за Гаэтана. Алискан — «лицеист».

А. М. Р[емизов] — «чисто» (без рассуждений). «Голова идет к рúгом» (а не «кругом»). Гаэтан — «летучий», Бертран — земля. Все повторял: «очень печально».

Зонова я не понимаю. Он очень хвалит, но, как он все говорит, я не знаю.

Люба сегодня в кружке, который собрался у Веригиной и которым она, оказывается, вовсе не очень интересуется...

*3 февраля.*

С утра пошел на крестины — крестил младшего сына Пяста. Веселый пухлый, щека, каприз, 2-й год. Обряд прекрасный. Оба мальчика прекрасные. Взрослые проигрывают рядом с ним особенно. Был крестильный обед, недоразумение с отцом и попом, разумеется, досидел до 5-ти часов, усталость и отрадное чувство от детей и от обряда.

Небо становится весенним на закате, перисто.

В 9-м часу стали собираться у нас: мама, тетя, Женя, Пяст, Веригина с мужем, Александра Н. Чеботаревская, В. Н. Соловьев, Ю. М. Бонди, С. М. Бонди, Мейерхольд с женой, Иванов-Разумник. Я прочел «Розу и Крест». Опять сильное впечатление, хороший вечер.

Мейерхольд: отсутствие актеров на эти роли, связанность сцен... Мейерхольд, невзначай будто бы, спрашивает, правда ли, что «антреприза» Зонова субсидируется Терещенкой, а мы с А. М. Р[емизовым] — пай-

щики», и т. п., — невероятный вздор, мешанские сплетни. Так же — о Станиславском. При всем этом, он мило дурчился, и, мне кажется (как ни трудно всегда это в нем разобрать), ему понравилось искренно: по-человечески он меня крепко поцеловал.

Женичка, дослушав, растрогался и спрятался в окно за занавеску. Лидо у него дрожало. Говорит, что конец — «его», а юмор с капелланом и т. п. — слабее.

Пяст говорил, что так лучше, чем я рассказывал — указал на совпадение ритма моего лейт-мотива («Радость—Страданье одно») с его (в его «опере»): «Фея, Коринна, Любовь».

Александра Н. Чеботаревская — Бретань, как родная страна, «откуда у вас сила», «вклад в русскую словесность», давно не приходилось читать такой вещи, опасность заглавия, прозрачность, стиль (вместе с Мейерхольдом).

Разумник одобрил и ушел без чаю, торопился к себе в Царское Село, сказал, поговорим в «Сирине».

Соловьев В. Н. — о достоинствах 1-го акта, начало слов графа оценил.

Бонди — о петухах (как М. И. Терещенко). «Абсолютная правда». Запомнил некоторое наизусть.

Много говорили о втором акте. Маме понравилось больше, чем, когда я читал им с тетей.

Люба тихо хозяйничала, всех угощала...

*4 февраля.*

Телефоны, письма (Тыркова, Л. Я. Гуревич, Сытин, Ремизов). Иванов-Разумник указывает, что сцена, где Алискан становится на плечи Бертрану, может быть воспринята публикой, как роستانовская («Сирано де Бержерак»).

5 февраля.

Разумник (в «Сирине»). Может быть, слишком часто? «Как ночь прекрасна». Соображения о «трагедии» и «драме» (рождение человека и смерть человека). Если так, то не все ли — трагедия? Напр. «Пятая язва» (не говоря о Достоевском). Дело трагика — почувствовать трагедию во всякой человеческой драме (даже в упавшем на голову кирпиче, в случайно раздавившем автомобиле). Когда это будет почувствовано, понятие «драмы» в том смысле, как оно испоганено во второй половине XIX века (т.е. «кончается плохо») — околеет. Слово «брат» (в звательном падеже) — не слишком ли по-русски?

Телефон с А. М. Ремизовым и с Румановым. О «Сирине» (с А. М. Ремизовым) — «обновить», прибавить крови, уже застывает (мама). Руманов сообщает, что М[ережковские] поехали из Парижа на Ривьеру.

6 февраля.

Телефон с Философовым. Днем — у мамы. О Жене, ее опасения. Вечером — с Любой в кинематографе.

7 февраля.

... Вечером — у мамы (тетя. Женя, Ю. М. Бонди, В. Н. Соловьев, Н. Бычков). У мамы — припадок. Разговоры о кружке.

8 февраля.

Днем — мама у меня.

9 февраля.

... Скучаю. Днем — телефон с А. М. Ремизовым, зашел к маме. Вечером — «Садко» в «Музыкальной Дrame». Ничего нет нужнее музыки на свете, омытый ею, усталый. Там встретил милую Ольгу Качалову<sup>181</sup> с мужем (Владимирский), который из красавца-брюнета превратился в рамолика, отчего стал милее. Болтали в антрактах...

10 февраля.

... 3-я годовщина смерти В. Ф. К[оммиссаржевской].  
Только музыка необходима. Физически другой. Бод-  
рость, рад солнцу, хоть и сквозь мороз.

Пора развязать руки, я больше не школьник. Ника-  
ких символизмов больше — один отвечаю за себя, один —  
и могу еще быть моложе молодых поэтов «среднего» воз-  
раста, обремененных потомством и акмеизмом.

Весь день в Шувалове — снег и солнце — чудо! Обедал  
у мамы, тетя вечером — пришел туда Женя.

В 10 час. вечера все ушли, у мамы опять очень бо-  
лит спина.

Обиженное письмо от А. Белого...

11 февраля.

День значительный. — Чем дальше, тем тверже я «ут-  
верждаюсь», «как художник». Во мне есть инструмент,  
хороший рояль, струны натянуты. Днем пришла особа,  
принесла «почетный билет» на завтрашний соловьевский  
вечер. Села и говорит: «А „Белая Лилия“, говорят, пьеска  
в декадентском роде?» — В это время к маме уже ехала  
подобная же особа, приехала и навизжала, но мама оста-  
лась в живых.

Мой рояль вздрогнул и отозвался, разумеется. На то  
нервы и струновидны — у художника. Пусть будет так:  
дело в том, что очень хороший инструмент (художник)  
вынослив, и некоторые удары каблуком только укре-  
пляют струны. Тем отличается внутренний рояль от  
рояля «Шредера».

После того я долго по телефону нашептывал Поликсене  
Сергеевне аргументы против завтрашнего чтения. В 12 часов  
ночи — звонок и усталый голос: «Я решила не читать». —  
Мне удается убеждать редко, это большая ответственность,  
но и радость.

После обеда посидел у мамы. Вот мысли, которые проходили сегодня в мозгу, отдыхающем, работающем отчетливо (от музыки и Шувалова).

Женя. Я просто не понимаю его грамматики. Его фразы никак не связаны с предшествующими им фразами. Мама говорит о мозговом недостатке. Может быть. Утешительно одно: Женя ничего не завивает вокруг себя, все его отталкивают, он чист и подлинен, и то, чего он не умеет сказать, следовательно, подлинно.

А. Белый. Не правится мне наше отношение и переписка. В его письмах все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто не из жизни, из чего угодно, кроме нее. В том числе, это вечное наше «Ты» (с большой буквы).

Почему так ненавидишь все яростнее литературное большинство? Потому что званых много, но избранных мало. Старое сравнение: дарь — средостенная бюрократия — народ: взыскательный художник — критика, литературная среда, всякая «популяризация» и проч. — люди. В литературе это заметнее, чем где-либо, потому что литература не так свободна, как остальные искусства, оно не чистое искусство, в ней больше «питательного» для челядиных брюх. Давятся, но жрут, питаются, тем живут.

Если б я когда-нибудь написал произведение, которое считал бы необходимым сообщить людям, я бы пошел на дилемму, как, вероятно, делает Дягилев. Надо надуть обманутых (минус на минус дает плюс): обмануты люди.

Я учредил бы контору, владеющую всеми средствами современной «техники» (в ложной культуре) для раздачи бутербродов Арабажиным <sup>182</sup> всей Европы. Окупились бы



все расходы; но, что главное, ценность была бы представлена людям, они бы ее увидели и задумались бы.

Всякий Арабажин (я не знаю этого господина, он — «только символ») есть консистерский чиновник, которому нужно дать взятку, чтобы он не прятал прошение под сукно.

Сиплое хихиканье Арабажиных. От него можно иногда сойти с ума. Правильнее — забить эту глотку бутербродом: когда это брюхо очнется от чавканья и смакования, будет уже поздно: люди увидят ценность.

Миланская конюшня. «Тайная Вечеря» Леонардо. Ее заслоняют всегда задницы английских туристов. Критика есть такая задница. Следующая мысль есть иллюстрация:

Сатира. Такой не бывает. Это — Белинские о...и это слово. До того о...и, что после них художники вплоть до меня способны обманываться, думать о «бичевании нравов».

Чтобы изобразить человека, надо полюбить его — узнать. Грибоедов любил Фамусова, уверен, что временами — больше, чем Чацкого. Гоголь любил Хлестакова и Чичикова, Чичикова — особенно. Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли». — Отсюда — начало порчи русского сознания — языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве — вплоть до мелочи — полного убийства вкуса.

Они нас похваляют и поругивают, но тем пьют нашу художническую кровь. Они жиреют, мы спиваемся. Всякая шавочка способна превратиться в дракончика. Вот за что я не люблю вашу милую м-ме Ростовцеву<sup>183</sup>, Поликсена Сергеевна! Эти, которые заводятся около искусства, они — графини Игнатьевы. Они спихивают министров... Это от них — так воняет в литературной среде, что надо бежать вон, без оглядки. Им — игрушки,

а нам — слезки. Вернисажи, бродячие собаки, премьеры — ими существуют. Патронессы, либералки, актриски, прихлебательницы, секретарши, старые девы, мужние жены, хорошенькие кокоточки — им нет числа. Если бы я был чортом, я бы устроил веселую литературную кадрили, чтобы закружилась вся «литературная среда» в кровосмесительном плясе и вся бы провалилась прямо ко мне на кулички.

Ну, довольно\*.

У мамы по вечерам сильная боль в спине...

*14 февраля.*

...Дни все скучнее и тяжеле.

Прятание от соловьевского вечера, на следующий день — у Поликсены Сергеевны, дамы говорят и в газетах пишут все не то, что было. Актеры ломались, Аничков кошунствовал, память Вл. Соловьева оскорблена. Тоска воплотилась для меня в шлянье по банкам — все отвратительнее становится это занятие. У мамы был доктор Грибоедов, наговорил пошлостей.

Кинематографы и пр. Сегодня вечером у мамы — с тетей Софой, которая приехала на несколько дней из Сафонова<sup>184</sup>...

*15 февраля.*

Пока я гулял на Стрелке, звонил ко мне приехавший Мих. Ив. Терещенко. Воротясь, я позвонил, мы болтали. Новые замечания о «Розе и Кресте» — читали в вагоне «Франческо да Римини», есть сходные положения, но,

---

\* Приходится еще выноски... Почему же я не признаю некоторых дам, критиков и пр.? — Потому что мораль мира бездонна и не похожа на ту, которую так называют. Мир движется музыкой, страстью, пристрастием, силой. Я волен выбрать, кого хочу, оттуда — такова моя верховная воля и сила. (Зноска Ал. Блока).

говорят, до как[ой] степ[ени] д'Аннунцио поверхностнее; трескучей (еще сближение: у д'Аннунцио тоже доктор, говорящий о меланхолии). Не хотят издавать всего А. Белого — до 30 томов! («топить и его и себя»). Очень не нравится начало романа («Петербург») в том виде, как набрано у Некрасова. Не нравятся также «Путевые заметки». Об альманахах я высказался объективно, что надоели они (мама мне говорила это).

Маму знобит, слабая, я пил у нее вечером чай, купил ей куст сирени...

16 февраля.

Значительный день. Днем — в «Сирине», туда Т[ерещенк]и приехали с генеральной репетиции «Электрик» Штрауса, страшно бранясь. Все, что я предполагал о постановке этой оперы Мейерхольдом (и Головиным), кажется, сбылось. Все костюмы, позы и проч. взяты из немецкой книги (единственной существующей) — срисованы прямо. А книга есть начало изучения критской культуры по тем небольшим еще данным, которые добыты из раскопок.

Обсуждение больших вопросов — об А. Белом (роман, путевые заметки, собрание сочинений — не полное, письма Метнера — уже настойчивые и грозящие потомством, дурное отношение к А. Б[елому] — \*.\*).

Победав на Николаевском вокзале, я пошел к Жене. Он объяснял мне вавилонскую систему 18<sup>6</sup>, позже пришел г-н \*.\* со своей женой (невенчаны). Характерные южане, плохо говорящие по-русски интеллигенты, парень без денег, но и без власти, без таланта, сидел в тюрьме, в жизни видел много, глаза прямые. Это все — тот «миллион», к которому можно выходить лишь в броне, закованным в форму; иначе эти милые люди, «молодежь» с «исканиями» — растащит все твое, все драгоценности

разменяет на медные гроши, все растеряет, разиня рот. Женя этого не понимает, но в нем самом есть единственная неистребимая и нерастворимая ценность: он — «лучший из людей». — Сидели до 2-х часов ночи, г-н Архангельский все разевал на меня рот, дивовался, что я за человек. — Мороз страшный.

17 февраля.

Сегодня от упиранья и самозащиты голова болит. Бродит новая мысль: написать о человеке, власть и м е ю щ е м — противоположность Бертрану. Тут где-то конечно, Венеция, и Коллеоне, и Байрон. Когда толпа догадалась, что он держал ее в кулаке и пожелала его растерзать — было уже поздно, ибо он сам погиб. Есть нечто в М. И. Т[ерещенко]. Вчера он был в старой шапке, уютной, такие бывают «отцовские» шапки.

На этих днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого — «Насильники». Хороший замысел, хороший язык, традиции — все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. Повидимому, теперь его отравляет \* \* : насмешка над своим, что могло бы быть серьезным, и невероятные положения: много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из «трюков», (как нашептывает \* \* — это, впрочем, мое предположение только), — будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме одного, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного, той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются.

Примечательное письмо от госпожи Санжарь. Все-таки это хорошо, что мне так пишут.

Солнце, утро, догаресса кормит голубей, голубая лагуна. — Дальний столбик со львом — в стороне вокзала. — Когда бросают его растерзать, он погиб, но «Венеция спасена» — путем чудовищного риска, на границе с обманом, «провокацией», причем и «достойные» (но «неимеющие власти») пали жертвой. Какой-то заговор; какая-то демократка несказанной красоты, карты, свечи (если XVIII столетие; тогда уже без догарессы) <sup>186</sup>.

Иду обедать к маме. Прочел повесть Пушкина, перепечатанную из «Северных Цветов» <sup>187</sup>. Несколько фраз — явно его.

*18 февраля.*

Тяжелый день. Банк, нищий \* \*, телефон с Г. Ивановым, отчаянное письмо от А. Белого — переговоры с М. И. Терещенко и А. М. Ремизовым. Вечером — премьера «Электры», для меня — как будто ничего не было. Мы в бенуаре (мама, тетя, Франц), к нам заходил М. И. Терещенко.

*21 февраля.*

19 февраля — днем в «Сирине». Решение относительно А. Белого (собрание не издавать, романа ждать, «Путевые заметки» — отдельной книгой). Веч[ером] заехал за мной М. И. Т[ерещенко], поехали на открытие «Нашего Театра» («Просветительные учреждения», Зонов, пушкинский спектакль). Так плохо, что говорить не стоит, двух мнений быть не может. Из Фетисовой может что-нибудь выйти. Тетя, Философов, Ремизовы, Волконский, Кульбин, Л. Гуревич. Разговор с Волконским, который почему-то советует читать «L'Annonciation à Marie» Claudel'я (? зачем?). Заехали с М. И. Терещенко на Варшавский вокзал, потом — к Ремизовым, куда пришел Зонов, разбранили его, а, когда он ушел, А. М. рассказал о нем много трогательного (женитьба, сумасшествие, около

Коммиссаржевской). М. И., усталый, отвез меня домой в 3-м часу ночи. Вечер был уютный — таяние, автомобиль, бесконечные улицы, ночь.

22 февраля.

...Письмо и телефон от А. Белого и еще разные. Обедал у мамы.

Сегодня празднуется трехстолетие дома Романовых, союзников 4 000 понаехало из Киева, опасно выходить на улицу. Центр города разукрашен, Франц все время в соборах и пр. Капель, солнце — два года назад описано все в моей поэме<sup>188</sup>. (Собака под ноги суется, калоши сыщика блестят, до Пасхи целых семь недель).

Бродил днем, переехал тающую Неву в кресле, тоскливо и ветрено. Звонила Марья Павловна из «Тропинки», просила передать маме, что Надежда Сергеевна, сестра П. С. [Соловьевой], скончалась сегодня в 6 часов утра. Это — та, что была в молодости красива, замуж не вышла, культ брата.

Вечер — дома, после ванны позвонил к М. И. Т[ерещенке], а он, оказывается, в отчаянии, совсем расстроился, как было в октябре, у него сидят Ремизовы и двоюродный брат. Звал, но я боюсь после ванны, пойду завтра вечером.

Черная ночь, ветер весенний...

Маме утром было скверно: опять поднималась температура, вечером (после гостей) — лучше...

23 февраля.

Вчера и третьего дня — дни о Терещенке.

Третьего дня вечером я позвонил к нему — и во-время. Вчера (днем у мамы, завтрак с тетей, болтовня, брошюры Толстого на Зелениной)<sup>189</sup>, вечером пошел к нему. Ему уже легче. Сидя под врубелевским «Демоном», говорили

с ним и с сестрами о тысяче вещей. Я принес рукопись первых трех глав «Петербурга», пришедшую днем из Берлина от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым, у меня всегда, — повторяется: туманная растерянность; какой-то личной обиды чувство; поразительные совпадения (места моей поэмы); отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; злое произведение; приближение отчаяния (если и вправду мир таков...); не нравится свое — перелистал «Розу и Крест» — суконный язык. — И, при всем этом, неизмерим А. Белый, за двумя словами — вдруг притаится, иное все становится иным.

Какова будет участь романа в «Сирине» — беспокоит меня.

Главное, говорили о жизни. Об отношениях с мир-искусниками (холодные, другое поколение, Волконский, многое). Сестры и М. И. [Терещенки] рассказывали о детстве. Потом ушли сестры, мы говорили до 2-х часов.

Главное: то, что мама и Женя говорят мне, я говорю Терещенке.

Вот эсотерическое, чего нельзя говорить людям (одни — заключают, другие используют для своих позорных публицистических целей). Искусство связано с нравственностью. Это и есть «фраза», проникающая произведение («Розу и Крест», так думаю иногда я).

Также и жизнь: выбор, разборчивость, безгливость — и мелеешь без людей, без vulgus'a; все правильно кроме основного; это что-то вроде критской культуры. Основное заблуждение. Трагедия людей, любящих искусство.

Много о себе рассказал М. И. [Терещенко]. Все почти мое, часто моими мыслями и словами. И однако —

«неестественно» это все отчуждение, надо, чтобы жизнь менялась. Оскомина.

За эти дни: письмо от Цинговатовой (Р. и/Д.)<sup>190</sup> — искреннее. Письмо от барышни Сегаль. Городецкий прислал переписать вексель. Вася Гиппиус прислал свою поэму. Боря прислал ответ — не обижен. Прибой людской. Опять усталость...

Обед у мамы. Брожу — черно и сыро, кинематограф, песни. Проекторы все еще освещают город. Письмо от Л. Сегаль, телефон от Бори — переезжает в Луцк... —

*24 февраля.*

Радуюсь: сегодня Терещенки почти решили взять роман А. Белого.

Маслянице и всяким торжествам — конец. Да будет тих и светел великий пост...

*25 февраля.*

Телефон Клюева и Жени.

Письма от курсисток и Метнера — очень трогательное. Письмо от Бори — мне и А. С. Петровскому<sup>191</sup>, вложенное туда же...

Письмо от Любы.

Мама зашла днем. Я пошел в «Сирия» — весело. Там — все, кроме Елизаветы Ивановны (больна). Роман А. Белого окончательно взят, телеграфирую ему. — Вечером ждал Женю, но Женичка не пришел. Пишу Любе...

Нет, Женичка пришел поздно — от девушки, которой помогает, говорили хорошо, он был мне понятнее, сидели до 1-го часу (о сынах века и сынах света — Лука XVI)..

*26 февраля.*

Сегодня день тусклый и полный каких-то мелких огорчений, серостей. Просто удивительно, как это бывает последовательно, до жути...



27 февраля.

Мелочи. Письмо от Бори Бугаева (переезжает в Лудк). Катанье с М. И. Терещенко и А. М. Ремизовым на Стрелку (А. М. дал мне книгу J. Patouillet об Островском для рецензии: всякая болтовня и соображения. М. И. все как-то задумывается). Городецкий взял вежсель и говорил о нем по телефону каким-то голосом не уверенным, как будто еще что-то хотел сказать. — «Задушевный» телефон с Л. Я. Гуревич и стихи в «Русскую Мысль». — Вечерний чай у мамы и разговор об «акмеистах» (новые мои размышления). Маме гадко, тяжелое впечатление в «Тропинке» днем: Поликсена Сергеевна, после смерти сестры, очень грустна, в глубоком трауре. Дала нам с мамой по экземпляру «Перекрестка»...

1 марта.

Вчера утром и днем — последняя издерганность (нервная). Вечером Пяст и Княжнин пришли, сидели до 2-х часов ночи, очень приятно болтали и мало злословили.

Сегодня телефон М. И. Терещенко и А. М. Ремизова...

Днем пришел в «Сирин», приехали М. И. и П. И. веселые, повезли нас с А. М. кататься, потом к себе, там читал я им поэму Пяста. Не берет ее «Сирин».

Уйдя, застудил горло, вечером пришел на лекцию Сологуба без голоса, а там — мама, тетя, все «наши», кроме Елиз[аветы] Ивановны [Терещенко], Л. Андреев с компанией Осипов Дымовых, акмеисты и пр. и пр. Измучился. Л. Андреев опять назвался.

Телефонирую ему, что «отложим свидание, я потерял голос»...

Чай пили поздно у мамы с тетей.

2 марта.

Нет голоса. Мама принесла мне ветку сирени.

3 марта.

Сажу без голоса, пишу тьму писем. Пришла мама, потом М. И. Т[ерещенко] и А. М. Р[емизов]. Пили чай. Вечером прилежся чай пить к маме.

4 марта.

С утра стал разбирать записные книжки — прошлоедохнуло хмелем. Телефон с А. М. Ремизовым. Пришла мама. Потом Ключев — очень хороший, рассказывал, как живет. При нем зашел на минуту М. И. [Терещенко]. Вечером пришел милый студент из Киева, Вл. Мих. Отроковский. Позже Женичка. Так и прошел день...

5 марта.

Сегодня — рождение М. И. Т[ерещенко], ему 27 лет. Разговаривали по телефону. Днем мама была, а обедал — Н. П. Ге. Много я ему говорил о Грибоедове.

Пушки палят, вода высоко. Горло побаливает, голоса нет...

6 марта.

Мамино рождение. Днем мама пришла с тетей ко мне. Было солнце, мама читала вслух стихи Бунина и Брюсова. Вечером они с Ф[ранцем] пошли на «Золото Рейна» (мой [3-й] абонемент).

Вечером пришли ко мне М. И. Терещенко, потом — В. А. Пяст, С. П., после ухода М. И. Терещенко, сидели до 4-х часов ночи.

М. И. говорит, как трудно начинать что-нибудь теперь. Легче было «Миру Искусства». Даже со Станиславским — неизвестно, что делать. Может быть, нужно на 5 лет уйти, уехать в провинцию. Я все «утешаю» двадцатью годами.

С Пястом — о поэме. Он опять мне объяснял, и я опять понимал то, что забуду через несколько дней.

Ушел он, все-таки, довольный (хвалили многое), подбодренный. Надо теперь предлагать Иванову-Разумнику, для «Заветов».

Читаю поэму Хвоцинской (Н. Д.) «Деревенский случай» (1853). (№—50 лет отделяют ее от «Перекрестка» П. С. С[оловьевой]— тот же аромат, и то же... женское бессилие, неграмотность, невечность).

*7 марта.*

Телефоны: Княжнин, Пяст, А. М. Ремизов.

Очень замечательное письмо от Боголюбова из Харькова. Днем приехал Кожебаткин и привез мне 350 руб. Я стал выходить из дому...

*8 марта.*

Завтракал у мамы... М. И. Терещенко звонил. Пишу Любе. Вечером иду на «Золото Рейна» мамин абонемент (с тетей)...

*11 марта.*

Третьего дня — днем в «Сирине» (за это время: отказали «Логосу» как в субсидии, так и в распространении; отказались купить издания Павленкова, которые предлагались наследниками). Вечером — «Кармозина» (я уже описал впечатление в письме к Любе <sup>192</sup>). Дымшиц была не плоха. Тетенька довольна. После этого сидел у М. И. [Терещенко], который рассказывал мне всю грязную историю с шантажом.

Вчера — обедал у мамы, гулял весь день и вечер. Корректурa из «Русской Мысли». Письма от \* \* и \* \*.

Сегодня в газетах — известие о том, что Хрусталева-Носарь арестован за кражу где-то на юге Франции. «Речь» прибавляет вопросительный знак, а «Русская Молва» делает примечание (из «Matin») о том, что «нравственное падение» Носаря было известно. Эти дни все рассказывают о Миролюбове, который амнистирован и радуется тому,

что вернулся. Меня же и злит и беспокоит все связанное с «литературной жизнью». Миролюбов — милый и хороший, но Миролюбов — литератор. Все говорят об оздоровлении, об «оживлении», о «нравственности». Пройдет год, \* \* \* удесятерятся. Они будут «бодро», много и бездарно писать во всех пятидесяти толстых журналах, которые родятся к тому времени. Критики же будут опять (как сегодня Вл. Гиппиус в «Речи»), обмозговывать, «что случилось»? Случилось . . . . . — бездарность, она, матушка. Все, кажется, благородно и бодро, а скоро придется смертельно затосковать о предреволюционной «развратности» эпохи «Мира Искусства»... Пройдет еще пять лет, и «нравственность» и «бодрость» подготовят новую «революцию» (может быть, от них так уж станет нестерпимо жить, как ни от какого отчаяния, ни от какой тоски).

Это все делают не люди, а с ними делается: отчаяние и бодрость, пессимизм и «акмеизм», «омертвление» и «оживление», реакция и революция. Людские воли действуют по иному кругу, а на этот круг большинство людей не попадает, потому что он слишком велик, мирообъемлющ. Это — поприще «великих людей», а в круге «жизни», (так называемой) — как вечно — сумбур; это — маленьких, сплетников. То, что называют «жизнью» самые «здоровые» из нас есть не более, чем сплетня о жизни.

Я не скулю, напротив, много светлых мест было в эти дни:

... Природа: сосны в Шувалове, тающий снег, лужи, далекий домик на том берегу, надпись на том склепе: *Jeanne. Une prière, s'il vous plaît.*

Пелагея Ивановна Терещенко.

Красота унижения есть в ней. Приезжая в Швейцарию, опускает шторы от видов. В. Бальзака вчиты-

вается, сначала ненавидя, как с А. Белым. Солнце и жар — холодная кровь. «Вся жизнь ненужно изжитая. Стальной сталью . . . далью гор . . .» — такие бы строки — о ней. Опутывает боа плечи и руки. Серая сталь глаз, высокая прическа, черные волосы, обаятельные руки. Хмурый взгляд и гримаса. Четкость слов. Это — Сирия. Отношение к сестре и к брату. Впечатление от Пяста, который с сестрами Т[ерещенко] познакомился на «Кармозине».

Письмо от Бори (доволен «Сирином»), от Чацкиной. Телефоны — А. М. Р[емизов] и Ал-дра Н. Чеботаревская. А главное — письмо от Любы. Она пишет, что и сама думает, что летом мы вместе поедем отдыхать и лечиться...

*12 марта.*

Мама повредила ножницами ногу, лежит, всю ночь была страшная боль.

С М. И. [Терещенко] посидели в «Сирии», потом покатались. О Дягилеве и Шаляпине. Цинизм Дягилева и его сила. Есть в нем что-то страшное, он ходит «не один». Искусство, по его словам, возбуждает чувственность; есть два гения: Нижинский и Стравинский. Спрашивал М. И. о моей пьесе. — Очень мрачное впечатление, страшная эпоха, действительность далеко опередила воображение — Достоевского, например. Свиригайлов какой-то невинный ребенок. Все в Дягилеве страшное и значительное...

Мрачно до того, что уютность возвращается. Какая-то почва для меня, что мы с Любой, может быть, тихо поедем летом отдыхать за границу...

*13 марта.*

Возражение Мережковского мне в «Русском Слове»<sup>193</sup>. Стихи мои в «Северных Записках» с ужасной опечаткой<sup>194</sup>. Телефоны — М. И. Т[ерещенко], А. М. Р[емизов], Тыркова

(буду ли отвечать Мережковскому, Пяст, Кульбин (приглашает зайти). Днем — у мамы — она все еще лежит, боль меньше. Гулянье.

Вечером — «Валкирия» (с тетей). Устал...

17 марта.

За эти дни — тревога перешла в тоску. Изменился, апатия. «Сирин», катанья, звонил Бонди <sup>195</sup>, встреча с Сениловым <sup>196</sup>, болезнь мамы.

Сегодня к вечеру — одиноко...

20 марта.

Брожу, брожу...

Вчера днем в «Сирине». Вечером — у мамы (Женя). Перед ночью приехал М. И. [Терещенко], сидели до 2-х. Чтение «Розы и Креста» (2 акт и последние две сцены), опять обсуждение. О Дягилеве. Мысли М. И. о газете в провинции.

Сегодня — письмо от \* \*.

Брожу, купил книг, еще регистраторов (единственное домашнее занятие) для писем, котелок. Возвращаюсь домой — весна — приносят букет — розы, левкой, нарциссы, сирень. Записка без подписи: «Милому поэту, 19 марта 1913 г.». Сильные и знакомые духи. Тут же начинаю рыться в письмах — писем \* \* нет. — Странно.

Приходит Ге. Обедаем. В 10-м часу я еду на Петербургскую и посылаю букет \* \*. Брожу — и по Широкой (как иногда). — Ночью на Вознесенском встречаю Княжнина. Он провожает меня до дому. Опять роюсь в письмах — писем \* \* нет. — Едва дописал это — нашел письма \* \*.

22 марта.

Вчера вечером в кофейне посмотрел «Сатирикон»; моя фамилия вычеркнута, слава богу, мою двукратную просьбу

уважали. Встретил художника Матюшина, который футуристически молодится.

Вчера в «Сирине», гулянье с М. И. [Терещенко] и А. М. [Ремизовым] по Дворцовой набережной, посидели у М. И. Пелагея Ивановна все еще больна, в «Сирине» бывает одна Елиз[авета] Ивановна.

Письма от \* \*. Тоска растет.

По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто «понимают символизм» и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и в искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения — полное равнодушие. Но — слава богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше...

Вечером, чтобы разогнать тоску, пошел к Мейерхольду. «Любовь к трем апельсинам» по сценарию Гоцци не произвела никакого впечатления: сухая пестрота, составленная Вогаком, Вл. Н. Соловьевым и Мейерхольдом. Читал Вогак.

Были: жена Пронина <sup>197</sup>, прекрасная, я все на нее взглядывал. Пронин, Ярцев, Юрьев, Левинсон, Пяст, Соловьев, оба Бонди, Веригина, какие-то актриски декадентского вида, М. Лозинский, Ракитин и еще. А главное — двухмесячный медвежонок, урчит, свиристит, ревет, играет бумажкой, стоя на задних лапах, пьет молоко, бутылку держит руками за горлышко, переваливается с боку на бок, лежа на спине.

Уходя к Мейерхольду, я получил прекрасное письмо от какой-то дамы.

*25 марта.*

... Мы в «Сирине» много говорили об Игоре Северяnine, а вчера я читал маме и тете его книгу.

Отказываюсь от многих своих слов, я преуменьшал его, хотя он и нравился мне, временами очень. Это — настоящий, свежий, детский талант. Куда пойдет он, еще нельзя сказать; что с ним стряется: у него нет темы. Храни его бог.

Эти дни — диспуты футуристов, со скандалами. Я так и не собрался. Бурлюки, которых я еще не видал, отпугивают меня. Боюсь, что здесь больше хамства, чем чего-либо другого (в Д. Бурлюке).

Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм. Последние — хилы, Гумилева тяжелит «вкус», багаж у него тяжелый (от Шекспира до... Теофиля Готье), а Городецкого держат, как застрельщика с именем, думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко.

Футуристы, прежде всего, дали уже Игоря Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм.

Пяст был на обоих диспутах, расскажет мне.

М. И. [Терещенко] очень мрачен, на-днях уедет ненадолго, сегодня увидимся с ним. У Пелагеи Ивановны все еще болит горло...

Можно будет начинать издавать мои книги с осени в «Сирине». Метнер «не будет протестовать».

Звонил Руманов, хочет увидиться по делу и предлагает отвечать Мережковскому (если буду) в «Русском Слове».

Заходил Женя — по дороге к пьяному художнику, может быть и к Амосовой. Едет вместо меня слушать с тетей «Зигфрида» (Матвеев).

Звонил Пяст, рассказывал о футуристах. На вчерашней афише стояло: освобождение литературы от той грязи, в которую посадили ее Андреев, Сологуб, Блок и пр.



Едет в Москву на суд с Эн-Янковым и по прочим делам, хочет увидаться с Чулковым.

Иду на Английскую набережную, 12<sup>198</sup>. — Там сначала пел граммофон — Варя Панина и Шаляпин — божественная Варя Панина... Потом говорили о футуристах, об Игоре Северяnine и об издании моих книг с осени и о том, что не стоит ехать читать «Розу и Крест» С[таниславско]му, он сам скоро приедет сюда...

Лицо мое старится скоро. Нервничая. Веч[ером] — по приглашению в «Нашем Театре» — вечер Гольдони — «Слуга двух господ». Сидели с Зоновым. Много было хорошо, хотя и недостатков много. Главное — во всем какой-то задорный и молодой дух. Стараются. Фетисова как всегда, пленяющая (черная кровь) играла плохо, ходила по-бабьи в мужском костюме. Кроме того, говор у нее слишком русский. Игравший плохо короля в «Кармозине» был недурным Труфальдино. Было много вставок, сочиненных Гнесиным — с пеньем и даже с импровизацией. Публика шумно аплодировала, успех настоящий. Импровизировал тот, который так ужасно играл Моцарта, и, хотя наивничал и вульгарничал местами, был очень недурен в образе милого и гуманного «direttore».

У мамы обедали и вечером были гости — родственники. — Я вернулся из театра, говорил с мамой по телефону, тоскую, тоскую...

27 марта.

... К вечеру из окна комнаты Любы я увидел (хотя и слева) молодой месяц над Венерой, а внизу — большой луч, повидимому прожектора.

Завтракал у мамы. Нервность, у мамы припадок. Толщина и задыхающаяся болтовня г-жи Мазуровой. Болтает, как теща кубиста.

В «Сирине» М. И. [Терещенко], попрежнему, мрачен. О том, что могут опять сойти с ума Зонов и \* \*. Инцидент с \* \* на диспуте у Бурлюков—был, или г-жа Бурлюк... все наврала? Вечером справлялся по телефону у Кульбина (не говоря имени), он ничего не слышал.

Вечером у меня Вл. Н. Соловьев. Почти шесть часов сряду—болтовня в припрыжку, с перескоками. Много хорошего. Ему еще нет 25 лет. Заметно, как он отходит от Мейерхольда, а Мейерхольд сам, повидимому, сомневается в себе все более. Их самих мучит их сухая пестрота, они ломаются с «театральностью» в открытую дверь и никак не хотят понять, что человечность не только не убьет, но возвысит и осмыслит правдивое в их «исканиях».

На столе у меня уже стоят те красные розы, которые сулила мне неизвестная дама. Письмо, сопровождающее их, уже хуже первого: вздохи и страсти. Только что сжег я поблекший букет \* \*. Не отвечу.

*30 марта.*

Дни невыразимой тоски и страшных сумерек — от ледохода, но не только от ледохода...

Припадок у мамы, тяжелые разговоры в «Сирине»... Тщетные попытки встретиться со стороны Руманова и меня. 4-го апреля буду читать «Розу и Крест» в обществе, основываемом Недоброво.

Днем в «Сирине» и у Терещенки с Ремизовым...

*1 апреля.*

Вчера днем у меня Женя, мама, тетя. Вечером — с М. И. Терещенко и Е. И. Терещенко — «Кармен». Мария Гай не в духе. Сегодня весь день и вечер стряпаю новое издание собрания стихотворений. Утром — еврей, журналист с юга. Заходила мама. Мокрая метель, тоска...

7 апреля.

Поездка в «Сирин». 5-го М. И. Т[ерещенко] уехал до 11-го — в Киев.

3-го — «Гибель богов» — встреча со \* \*.

4-го — чтение «Розы и Креста» в тяжелой обстановке. Успех. Присутствовало всего 70 человек <sup>199</sup>.

6-го (Вербная Суббота) вечером — у Зверевой, проболтал 4 часа. Значительная и живая.

7-го — вечером у меня были Руманов и Пяст. Руманов о производстве бумаги, о новой газете, о Мережковских, о... еврействе.

8 апреля.

В «Сирине» с А. М. Р[емизовым], в соседней комнате — Щеголев.

9 апреля.

Заходила мама днем. Бездонная тоска. Мысли об отъезде. Обед на Финляндском вокзале, печальный закат в Шувалове.

10 апреля.

Наконец, закончены тексты для нового издания трех книг стихов. Над указателями бился все эти дни. Днем — в «Сирине», на минуту, потом — с А. М. Р[емизовым] — покупали яички к Пасхе (Любе, маме, Францу, тете, А. М. Ремизову). А. М. Купил зеленый малахитовый ящичек Серафиме Павловне — вчера он достал у Пелагеи Ивановны аванс.

Грустно, грустно все...

Второй раз звонил г. Всеволодский <sup>200</sup>, предлагает устроить Любу летом «играть»... Я купил путеводитель по Новгороду, но решил не уезжать до Пасхи.

11 апреля.

В «Сирине», Михаил Иванович вернулся — мрачный и тревожный.

12 апреля.

Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестроредком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче («подтачивающая мысль») — от моря, от сосен, от заката.

13 апреля.

Сидели мы у М. И. Терещенки и у меня с ним, катались на островах, обошли пешком весь Елагин остров. Говорили о его планах, обо мне, о религии и искусстве. Он говорит: он в искусстве «ретрограден», не может найти, как Дягилев, людей с будущим только — без настоящего, не умеет угадать. И к Станиславскому «в ученье» идти не хочет. Уйдет в свои дела, которые не любит, но искусства не забудет. — Мои стихи «Приближается звук» запомнил почти наизусть. Говорит, что я много сделаю, если захочу.

я у мамы, много говорил ей о Терещенке, о себе, о критике. После чаю мы втроем с Францем ходили у Исаакиевского собора. Крестный ход был меньше, жандарм раздавил человека, ночь была прекрасна и туманна. Празднично было. Встретили Женю.

14 апреля.

Обедаю у мамы...

16 апреля.

К вечеру — поздравительные портреты зайцев от Любы. Заходил \*\*, не застал меня дома. Днем я был у сестер Терещенко, потом катались вчетвером, объехали все острова и на Удельную. Болтали и смеялись, было весело. Пелагея Ивановна, которую я не видал давно, опять говорила замечательное. Она читала «Вампира — графа Дракулу» и боялась, положила горничную спать с собой. Перед окном ее спальни — дерево, любимое в Петербурге, на нем

ворона сидела в гнезде. Гнездо разрушили. Утром после чтения «Вампира» ворона вращала глазами и пугала. — Пробует все средства, которые рекламируют в газетах. Для цвета лица, кремы и т. д. Раз проснулась утром, намазав на ночь лицо, и не могла открыть глаз — вся кожа сошла с лица. — Об авиаторах — о том, который летал с Горгоны и не долетел до берега, его не нашли. Был маленького роста, огромные черные глаза, очень смелый. Как Лагама убил буйвол. О шофере Роспиде — не любит Петербурга, скучает, любит природу — «бедный». О декадентстве, и декадент я или нет. — Хотела лететь на аэроплане, но боится. — Скоро уезжают сестры.

Потом мы с Михаилом Ивановичем ходили по Дворцовой набережной. Обедал я у мамы.

*17 апреля.*

В газетах — известие об аресте Мгеброва.

*20 апреля.*

... Так тянется, тянется непонятная моя жизнь.

17-го обедал с мамой и Францем у тети, 18-го был в «Сирине», мы с А. М. [Ремизовым], не дождавшись Терещенки, ходили, прошли весь Невский, говорили о Станиславском, когда с ним увидимся, о занятиях для наших жен. — Вечером пошел я в цирк, почти заснул с тоски и отвращения. С борьбы, которая, когда-то казалась мне великолепной, я ушел, задолго до конца.

19-го — днем в «Сирине», М. И. Т[ерещенко], потом приехали П. И. и Е. И. [Терещенки], вместе отвезли меня домой. Пелагея Ивановна.

После обеда, на холодном закате, я снес письмо К. С. Станиславскому с просьбой выслушать «Розу и Крест» в присутствии А. М. Р[емизова] только.

Потом — у мамы, Женя и Гушин насканивают друг на друга, как петухи, ничего взаимно не понимая, Веригина болтала свое, женское, Олимп. Ник. [Гушина] кивает, Франц спит. Взял у мамы «Опавшие листья» Розанова, экземпляр М. П. Ивановой с надписью. Читаю и на ночь и утром 20-го.

20-го. Позвонил Городецкий — о векселях. Я спрашивал его о Вячеславе Иванове, об Италии. Он опять привез «итальянские стихи». Вячеслав Иванов еще более ругал его (в Риме), чем я. Ребенок у него большой и здоровый. Вчера, говорит, в «цехе» говорили об И. Северянине и обо мне. Васе Гиппиусу нравится «Роза и Крест». В акмеизме, будто, есть «новое мироощущение», лопочет Городецкий в телефон.

Я говорю — зачем хотите «называться», ничем вы не отличаетесь от нас. Он недоволен тем, что было столько «шуму и злобы». Я говорю: главное пишите свое. Он согласен. Потом звонила м-ме Копельман и говорила, что теперь курсистки заняты экзаменами, так что лучше отложить чтение «Розы и Креста» до осени.

В это время посыльный принес необыкновенно милый ответ от К. С. Станиславского. Может быть, он придет завтра слушать «Розу и Крест»...

Все утро прождал я К. С. Станиславского. В 1-м часу позвонил он — жар, боится, послал за градусником — будет сидеть дома, может быть, завтра. В 1 час пришел А. М. Ремизов, дал я ему цветной капусты и ветчины.

Поразил меня голос Станиславского (давно не слышанный) даже в телефон. Что-то огромное, густое, «нездешнее», трубный звук.

М. И. Т[ерещенко] волновался, говорит А. М., пожалуй, подозревает, что Станиславский не хочет...

Как всегда, вокруг центрального: пока ждал Станиславского, звонок от Зверевой, которая хорошо

знает одного из режиссеров студии Художественного театра — Вахтангова. Хочет познакомиться, хочет поставить «Розу и Крест» с «любимым художником — Бенуа, Рерих» (!!??). Это через третьи руки, и этот «бабий» голос. Нервный и путает. Нет, решаю так:

Пока не поговорю с Станиславским, ничего не предпринимаю. Если Станиславскому пьеса понравится и он найдет ее театральной, хочу сказать ему твердо, что довольно посмотрелся я на актеров и режиссеров, недаром высидел последние годы в своей мурье, никому не верю, кроме него одного. Если захочет — ставил бы и играл бы сам — Бертрана. Если коснется пьесы его гений, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского также громадны, как и его положительные дела. Если не хочет сам он, — я опять уйду в «мурью», больше никого мне не надо. Тогда пьесу печатать. А Вахтангов — самая фамилия приводит в ужас.

Буду писать до времени — про себя, хотя бы и пьесы. Современный театр болен параличом — и казенный (Мейерхольд; ведь «Электра» прежде всего — бездарная шумиха). Боюсь всех Мейерхольдов, Гайдебуровых (не видал), Обводных каналов (Зонов не в счет), Немировичей, Бенуа...

*26 апреля.*

Эти дни — напрасное ожидание Станиславского. Он все еще боится выходить далеко, простужен.

У мамы. «Сирин», свидания с М. И. Терещенкой. Мамины именины — обед у нее, у нее много цветов. В этот день у М. И. Терещенко было совещание об «Алалее и Лейле» <sup>201</sup> (А. М. Ремизов, Лядов, Головин). Поездка опять к морю — в Сестрорецкий курорт. Известие о смерти Е. Гуро.

26-го — звонок от Станиславского, который обещал прийти 27-го, между двумя и тремя часами.—Мама завтракает у меня. Днем я в «Сирине», все в сборе, прощался с сестрами Т[ерещенко], уезжающими завтра за границу. У А. М. Ремизова все очень плохо, завтра надеется отправить Серафиму Павловну в пансион в Мустамяки. Было много разговоров о санаториях.

Читали и забраковали стихи Георгия Иванова. М. И. говорил, что начал читать «Стихи о Прекрасной Даме», и они ему нравятся.

Вечером я неожиданно попадаю на концерт Шаляпина (вместо Сер. Павл. Ремизовой). Красный диван у самой эстрады, Шаляпин в голосе. Просто, сильно, но так элементарно. Слушать хорошо, однако, особенно «Слушай команды слова» (Беранже), былины, «Вниз по матушке по Волге». Знаменитая «Блоха» — что то не очень... М. И. и Е. И. Т[ерещенко] с двоюродным братом. Встретил В. В. Розанова и сказал ему, как мне нравятся «Опавшие листья». Он бормочет, стесняется, отнекивается, кажется, ему немного, все-таки, приятно. С ним — похудевшая и бледная Варвара Дмитриевна <sup>202</sup>.—Первый вопрос Р[озанова] был: «Отчего вы один, без жены?»

*27 апреля.*

Важный день. После ожиданий и телефонов — около 2-х пришел А. М. Ремизов, а около 3-х — К. С. Станиславский. Поговорив, приступили к чтению «Розы и Креста», которое кончилось около 6-ти. А. М. Ремизов скоро ушел, а К. С. Станиславский оставался со мной до без  $\frac{1}{4}$  12-ти. Обедали кое-как и чай пили.

Читать пьесу мне было особенно трудно, и читал я особенно плохо, чувствуя, что К. С. слушает напряженно, но не воспринимает. Из разговоров выяснилось, что это —



действительно так. Он воспринял все действие, как однообразное, серое, терял нить. Когда я стал ему рассказывать все подробно словами гораздо более наивными и более грубыми, он сразу стал понимать. Разговор шел так: Сначала я ему стал говорить, что Бертран — «человек», а Гаэтан — «гений», какая Изора (почему «швейка»). Потом он изложил мне подробно начала тех курсов, которые преподаются в студии — с тем, чтобы потом подойти к песе.

Первые три шага, которые делают актеры в студии, заключаются в следующем: 1) Приучаются к свободе движений, сознавать себя на сцене; если актера взять за руку перед выходом и сказать: помножьте 35 на 7 — прежде всего упадут его мускулы, и только тогда он начнет кое-как соображать. Вся энергия уходит во внешнее. Это и есть — обычное «самочувствие» актера на сцене. К. С. сам был, как говорит, всегда этому подвержен. Первое, значит, ослабление внешнего напряжения, перенос энергии во внутрь, «свобода». Анекдоты: на экзамене, на курсах Халютиной, демонстрировали это: актер и актриса лежали на диване в непринужденной позе. Им сказали (или они так поняли): чувствуйте себя свободно, говорите только то, что захотите, и как раз не хотелось говорить, проходит час, два — лежат, слегка мычат. Здесь упущено то, что при свободе самочувствия все время требуется направление воли, владение ею.

2) Приучаются к тому, чтобы «быть в круге». Сосредоточивание внутренней энергии в себе, не отвлекать внимания, не думать о публике (не смотреть, не слушать зала), быть в роли, в «образе».

3) «Лучеиспускание» — чувство собеседника, заражение одного другим. Опять анекдот: был целый период, когда все в студии занимались только «лучеиспусканием»,

гипнотизировали друг друга. Еще анекдот: «лучеиспускание» «яутром» — напирание на другого.

Все эти три первоначальные стадии ведут к тому, чтобы приучить актера к новому «самочувствию» на сцене. Это волевые упражнения. По словам К. С., к этому так привыкают, что и в жизни продолжают быть — со свободными мускулами и в круге.

В. Когда он все это рассказывал, я все время вспоминал теософские упражнения.

Цель нового самочувствия — пробуждение в себе аффективной памяти, т. е. ясного воспоминания того чувства, которое испытал в таком-то и таком-то случае жизни (не только подробностей события, но, главным образом, окраски этого события, то, что при нем переживала душа, С[таниславский] говорит, что после этих волевых упражнений наблюдается сильное развитие аффективной памяти.

Вслед за тем приступают к работе над пьесой, которую он успел рассказать в менее подробных чертах: деление на куски, анализ, «сквозное действие».

Воздействие на публику, воля к тому, чтобы передать переживание — ряд новых упражнений. «Переживания по аналогии» — еще более сложные упражнения.

Как наблюдать на улице — заставлять себя понять, почему такой-то с таким-то лицом подошел к другому, как и зачем подошел и т. д.

Тоже — упражнение... (Для меня все это ряд вопросов? Надо ли?)

Сам Ст[аниславский] обратился к психологии и стал думать о новой школе актерской игры — об игре внутренних переживаний — в годы революции, в Гомбурге, когда почувствовал, что у него появились шаблоны, что он каждый раз играет по трафарету, что новая роль

его — не новая, а только ряд кусков старой роли. Тогда же он заново пересмотрел все свои роли. В «Дяде Ване» (Астров) — сцена у буфета — ловил себя на том, что стал думать каждый раз, кому после этой сцены (длинный перерыв) напишет письмо, кого примет (директорские обязанности).

Перешли к «Розе и Кресту», и я стал ему подробно развивать психологию Бертрана, сквозное действие. Он, все время извиняясь за грубость воображения («наше искусство — грубое»), стал дополнять и фантазировать от себя. И вот, что вышло у нас с ним вместе:

Живет Бертран — человек, униженный. Показать это сразу же тем, что Алиса велит выплеснуть помой, почти — ночной горшок. Рыцарь кладет меч и щит и несет ведро. «Вот это дайте мне, как актеру», — все время в таких случаях повторял С[таниславский].

Бертрана все оскорбляют. Едет он, берет краюху хлеба (посланный) — все так же унижен. Встреча с Гаэтано — тоже сразу показать резче — «гениальный безумец» — «что-то поет над океаном» (ах, ах, актерство).

Резко показать иронию мою — по отношению к непригодности, житейской беспомощности Гаэтано. Для этого — сцена в пути («Пещера» — ?!). Восторженно поет и рассказывает сказки, а Бертран его отечески убаюкивает (спи, спи, все это вздор, вот тебе кусок хлеба). Наконец — привозит. Сцена у ворот (сомнения Бертрана; она там, несчастная заперта, а я еще привез — этого безумного — что он для нее — не лучше ли — просто красивый паж?). Не постучав, сажает на коня — уезжай. Потом опять взглянул — нет, оставайся, ты какой-то необыкновенный... Стучит в ворота — конец сцены... «Вот за что публика деньги платит», вот когда вы завладете ей.

Человек из публики, который пришел прямо от прилавка в театр, переходит в роль критика и начинает возмущаться и думает, — за что я платил деньги, когда автор не даст ему свое временно простого, когда он должен соображать в ту минуту, когда уже произносятся важные слова. Сначала дать определенно и (всегда желательно) от имени того самого лица, не через других, что это вот — человек и униженный. Это может дать актер (гримасы и т. д.), но всегда желательно, чтобы автор шел ему и публике навстречу. Чехов многие ремарки вставлял уже после того, как подметил то или другое у актера, в самом исполнении.

Вы, говорит мне Станиславский, скрываете, утаиваете от зрителя (и от актера) самые выигрышные места, там, где можно показать фигуру Бертрана во весь рост — где Бертран становится ролью и даже бенефисной — Гамлет или Дон-Кихот (?).

Далее: сцены передачи Розы от него Гаэтану, и от Гаэтана — Бертрану. Ясно показать, что Гаэтан принял Розу, что утром, просыпаясь, чувствуя удушье, он бросил ее от себя в кусты (все это Станиславский представлял по-актерски, маша руками, хрипя и вращая глазами), а Бертран нашел ее, поднял и бережно спрятал на груди. Показать также, что с этой Розой — Бертран вырос, Изора стала внутренне принадлежать ему (в его влюбленность вошло отеческое и бескорыстное), Гаэтан потерял власть (для него, в его глазах и по отношению к Изоре) свою власть, свои «флюиды».

Новый еще вариант относительно розы, придуманный Станиславским: Изора после песни падает в обморок, Бертран дает ей понюхать розу, она приходит в себя. . (?!).

Дальше, Бертран вырос и имеет уже право воскликнуть: «Святая Роза!» (впрочем, нехорошо, когда актеру дают

так мало слов, что услышание их может зависеть от случайности — он не выйдет достаточно вперед, или статисты перекричат (?!).

Входит (его вносят) раненый. Он говорит в публику, что удар меча им получен от того самого, который был причиной всех его страданий\*. (Это — бенефисная роль, дайте мне это).

Дальше — истекает кровью, служа ей, как у меня.

Вечер закончился тем, что С[таниславский] извинялся, боялся, что повредил мне, брал назад свои слова, говорил, что он не отступал от моей схемы, «надо нам (режиссерам) научиться говорить с авторами», что он мне ничего не сказал, что он не уловил и четверти в пьесе, что надо считать, что он слышал от меня только схему будущей пьесы.

Я сомневался в том, смогу ли пойти навстречу тем «театральным» (актерским и зрительным) требованиям, какие выставляет С[таниславский]. Сомневаюсь и теперь, надо ли «огрублять», доказывать, подчеркивать. Может быть, не я написал невразумительно, а театр и зритель не готов к моей «сжатости»? Подумаю. С[таниславский] говорил всякое — приятное, о моих стихах, обо мне. Говорил, что теперь я «ближе к Пушкину», потому что не недосказывают там, где была потребность недосказывать у «декадентов» — по отсутствию таланта (недосказывать именно там, где не могли, не умели).

Я говорил ему, что повредить он мне не мог, напротив. И мы вспоминали вместе ту первую весну (11 лет

---

\* 28 утром пришел Женичка и сказал, что Бертран несчастный, над которым все время висит кошь Вотана, не должен и не мог именно убить. Он смыл оскорбление только тем, что получил рану — но факта убийства не было. Подумаю. — Еще рассказывал, что говорит Аносова и как она ездит мимо меня на извозчике. (Сноска Ал. Блока).

назад), когда Художественный театр впервые приехал в Петербург, как я орал до хрипоты, жал руку Станиславскому, который среди кучки молодежи садился на извозчика и уговаривал разойтись, боясь полиции.

М. И. Т[ерещенко] провожал сестер, волновался весь день, трубка у меня была снята, ночью, после ухода Станиславского, я звонил ему и кое-как рассказал, усталый. Он злился.

Впрочем С[таниславский] говорил, что он воспринимает все туго и медленно. Мое впечатление, что он очень состарился, устал.

Повидимому, и с Художественным Театром ничего не выйдет, и «Розу и Крест» придется только печатать, а ставить на сцене еще не пришла пора.

*29 апреля.*

Вчера, после Жени, приехал М. И. Т[ерещенко], мы поехали с ним к Ремизовым, пили там чай со спущенными (для Серафимы Павловны) занавесками. Я все им рассказывал. М. И. сочувствовал, сердился, обижался, говорил, что рад, что не пошел к Станиславскому. Потом мы катались вместе по островам, потом Rospide привез меня к маме, где я обедал и все рассказывал маме, тете и Францу. Вечером — погулял — месяц, туман, тепло, сине.

Сегодня: Печально все-таки все это. Год писал, жил пьесой, она правдивая. Баяны, Котляревские, Неведомские, Батюшковы, Яблоновские, будто сговорившись, объясняют успех футуристов тем, что «мы» («символисты» что ли) — гнилые, дряхлые. С них я не требую сочувствия. Но пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое (Чехов в Художественном театре) и ничего не понял, ничего не «принял» и не почувствовал. Опять, значит, писать «под

спудом». «Свои» стараются (Станиславский; Философов—брюжит, либеральничает. Мережковский читает доклады о «Св. Лье», одинаково компрометируя и Толстого и святых. Гиппиус строчит свои бездарные религиозно-политические романы. А. Белый—слишком во многом нас жизнь разделила). М. И. Т[ерещенко] уходит в свои дела, хотя бы и временно.

Остальных просто нет для меня — тех, которые «были» (Вячеслав Иванов, Чулков...).

---

Звонила Ангелина, хотела прийти сегодня вечером, сдала экзамен философии. Приходила няня Соня. Такие дни бывают...

Обедал у мамы, потом мы пошли с ней в театр — Студия Московского Художественного театра, «Гибель Надежды» Гейерманса (с.-д., голландец, родился в 1864 г., «натуралист»). Пьеса с большой фальшью, некоторые места (заключительный монолог сына в конце 1 акта, многие слова матери и др.) необходимо бы вычеркнуть.

Истинное наслаждение от игры актеров. Напоминает старые времена Художественного театра. Ансамбль. Выделить, и то без уверенности, можно двух («старик» — Чехов (племянник А. П.) и «бухгалтер» — Сушкевич). Массовые сцены, звуки моря и звонки пароходов, декорации — прелесть простоты. Публика плачет. Все играют с опущенными мускулами и в круге, редко выходя из образа. Все сделано без помощи старших (и режиссер — молодой), только проникнуто духом их работы. Новых приемов (по сравнению с Художественным театром прошлого) — нет.

Встреча с В. Немировичем-Данченкой, которому я в крайне любезной форме сказал все, в сущности: что «Роза и Крест» будет напечатана; отказался ему прочесть;

впечатление Станиславского; о том, что предпочитаю работать про себя.

Немирович-Данченко говорил, что стихов никто у них (и в Художественном театре) читать не умеет (пробовали Пушкина — не вышло; «Коварство и Любовь» пробуют — в прозе).

После спектакля убеждал М. И. Т[ерещенко] итти смотреть студию.

*1 мая.*

Опять находит тоска. Я правильно, все-таки, ответил сегодня Боголюбову в Харьков — в ответ на письмо о тоске и одиночестве.

«Будь у вас какая-нибудь любимая работа, „специальность“, вы бы иначе себя чувствовали... Пока ее нет, все отношение к миру выходит женское, много „настроенный“ и мало действий. Кому не одиноко? — Всем тяжело. Переносить эту тяжесть помогает только обладание своей атмосферой, хранение своего круга, и, чем шире этот круг, чем больше он захватывает, тем более творческой становится жизнь. Завоевать хотя бы небольшое пространство воздуха, которым дышишь по своей воле, независимо от того, что ветер все время наносит на нас тоску или [веселье, легко переходящее в ту же тоску, — это и есть действие мужественной воли, творческой воли].»

Даже самому чуть-чуть полегче. Пишу Любе о студии.

В нудном письме отвечаю Верховскому, что не могу ехать с ним в Александрию, куда он трогательно зовет.

*2 мая.*

Долго писал «Автобиографию Бертрана» <sup>203</sup>, написал всю, чтобы проверить себя еще раз. Выходит длинной, скучней (потому что — проза, а новелле я не умею по-



дражать), но верно. Вечером у мамы, потом зашел в Луна-Парк. Холод...

Звонил М. И. Т[ерещенко] и В. Н. Соловьев. Скучаю, всему предпочитаю постель, апатия.

4 мая.

Вчера днем в «Сирине». Балтрушайтис<sup>204</sup> говорил на-днях М. И. [Терещенко], что «Свободный театр» хочет «Розу и Крест». Может быть туда войдет Скрябин. «Свободный театр» получил от кого-то 3 000 000 рублей. Пока — это Санины и Марджановы.

Милый и прекрасный К. С. Станиславский наговорил мне все-таки ужасных глупостей. Говорят, он слушает одного Эфроса... М. И. довез меня до дому: мы говорили о том, что нам обоим вместе (как бывает нередко) надоели театры, книги, искусство. Жить хочется мне, если бы было чем, если бы уметь...

Вечером, после прозрачной прохлады на Стрелке, я застал у мамы Бычковых и увез их в Луна-Парк, где мы катались по горам. Какая прелесть! Они ушли, а я катался до 1 часу ночи, до закрытия кассы.

Сегодня утром пришел Городецкий (по поводу векселя). Он в Италии окреп, лицо милое, рассказы об Италии милые, упирается лбом в свой акмеизм. На-днях он был в Художественном театре, заплакал от Сольвейг (не читал «Пер-Гюнта») и вспомнил меня, потому и пришел.

Днем у мамы...

7 мая.

5 мая обедали у мамы с тетей, к сожалению был муж \* \*, у мамы после этого вечера всю ночь были припадки. 6 мая обедали у мамы с тетей, завтра она уезжает в Шахматово. Потом поехали с мамой в Художественный театр, мне дали два даровых места в 11 и 12 ряду. Мольеровский спектакль. Во 2-ой половине

приехал М. И. Т[ерещенко], сидел от нас недалеко. Потом отвез нас с мамой домой.

Впечатление от мольеровского спектакля самое ужасное: хорош Станиславский (Арган), местами — Лилина (Туанета), Лужский (Сганарель), кое-какие мелочи. Все остальное и прежде всего Бенуа — мертвое, ненужное, кощунственное. Судна и ночные горшки, ужасный перевод (Вейнберг). Мольер устарел, ансамбль Художественного театра исчез бесследно, вторые роли — хуже Александринки, молодые люди — \* \*.

Воротясь ночью, нашел письмо от Любы.

7 мая дождь, днем в «Сирине», оттуда втроем (М. И. [Терещенко], А. М. Р[емизов] и я) — покупать пальто А. М. у Красного моста. Вечером мы с М. И. были в студии — «Гибель Надежды». На меня опять произвели наибольшее впечатление Сушкевич, потом — М. Чехов. Была Веригина, с презрением ушла.

8 мая.

Днем катал маму по островам на извозчике. После обеда пришел Женя, я прокатил его по горам в Луна-Парке. Потом пошел к М. И. Терещенке и уговорил их с его двоюродным братом и А. М. Ремизова кататься. Потом М. И. уехал в Москву. Вечером я катался один — опять до закрытия кассы. Всего в день 21 раз.

Встреча с В. Греком <sup>205</sup>.

9 мая.

Разбитость от катанья по горам, шляюсь в Шувалове и в Зоологическом саду. Вечером А. М. Ремизов и Серафима Павловна уезжают в Париж...

10 мая.

Днем в «Сирине» (М. И., Р. В. Иванов). М. И. вернулся из Москвы, ехал с Философовым. Вечером — отчая-

ные, письма — вот эти (сжег) <sup>208</sup>, непосланные. Позже мы с М. И. катаемся по горам в Луна-Парке.

11 мая.

... Все утро, как ножами режут. И вдруг — письмо — \* \* — разбило атмосферу. Я отвечаю даже...

Днем звонил приехавший Боря (Андрей Белый), я позвал их с женой сегодня вечером, а завтра — обедать. Потом (ливень) поехал к М. И., посидели с ним, простились. Сегодня уезжает за границу до 26-го.

29 мая.

Вчера поздним утром Люба приехала домой...

... За это время было так много всего. Три свидания с Андреем Белым и его женой. Второе было ужасно тяжелое. После него — Inferno...

Концерты Плевичкой и Тамары.

На авиации — с мамой и Францем. Постоянное шатание по городу и за городом. Мало людей, мало писем. Женья. С Пястом — в Сестроредском курорте (тишина, дождь, прекрасно). Костюм в английском магазине. Встреча с Г. Чулковым.

Месяц справа — искал и нашел.

Теперь я жду М. И. Т[ерещенко] для нескольких дел с ним («Сирина»). Паршья какая-то на щеке. Апатия такая, что ничего не хочется делать. Мы с Любой все-таки должны решить скоро, куда ехать. Во всяком случае рано или поздно, надо купаться в теплом море.

---

Дневник теряет смысл, я больше не буду писать.

---

8 ноября.

Другом называется человек, который говорит не о том, что есть или было, но о том, что может и должно быть с другим человеком. Врагом — тот, который не хочет говорить о будущем, но подчеркивает особенно, даже

нарочно, то, что есть, а главное, что было... дурного (или, — что ему кажется дурным).

Вот почему я пишу на книге, даримой Иванову-Разумнику — «дорогому врагу».

*9 декабря.*

«Нелепый человек».

1-ое действие — 2 картины (разбитые на сцены?). Первая — яблони, май, наши леса и луга. Любовь долгая и высокая ограда — перескакивает, бродяжка, предложение. Она на всю жизнь.

Вторая — город, ночь, кабаки, цыгане, «идёт», свалка, пение, (девушки? слушают за дверью), протокол.

Постоянное опускание рук — все скучно и все ничем. Потом — вдруг наоборот: кипучая деятельность. Читая словарь (!), обнаруживает уголь, копает и — счастливчик — нашел пласт, ничего не зная («Познание России»). Опять женщины.

Погибает от случая — и так же легко, как жил. «Между прочим» — многим помог — и духовно и материально. Все говорят: нелепо, не понимаю, фантазии, декадентство, говорят — развратник. Вечная сплетня, будто расходятся с женой. А все неправда, все гораздо проще, но живое — богато — и легко и трудно — и не понять, где кончается труд и начинается легкость. Как жизнь сама. Цыганщина в нем.

Бертран был тяжелый. А этот — совсем другой. Какой-то легкий. Вот современная жизнь, которой спрашивает с меня Д. С. Мережковский.

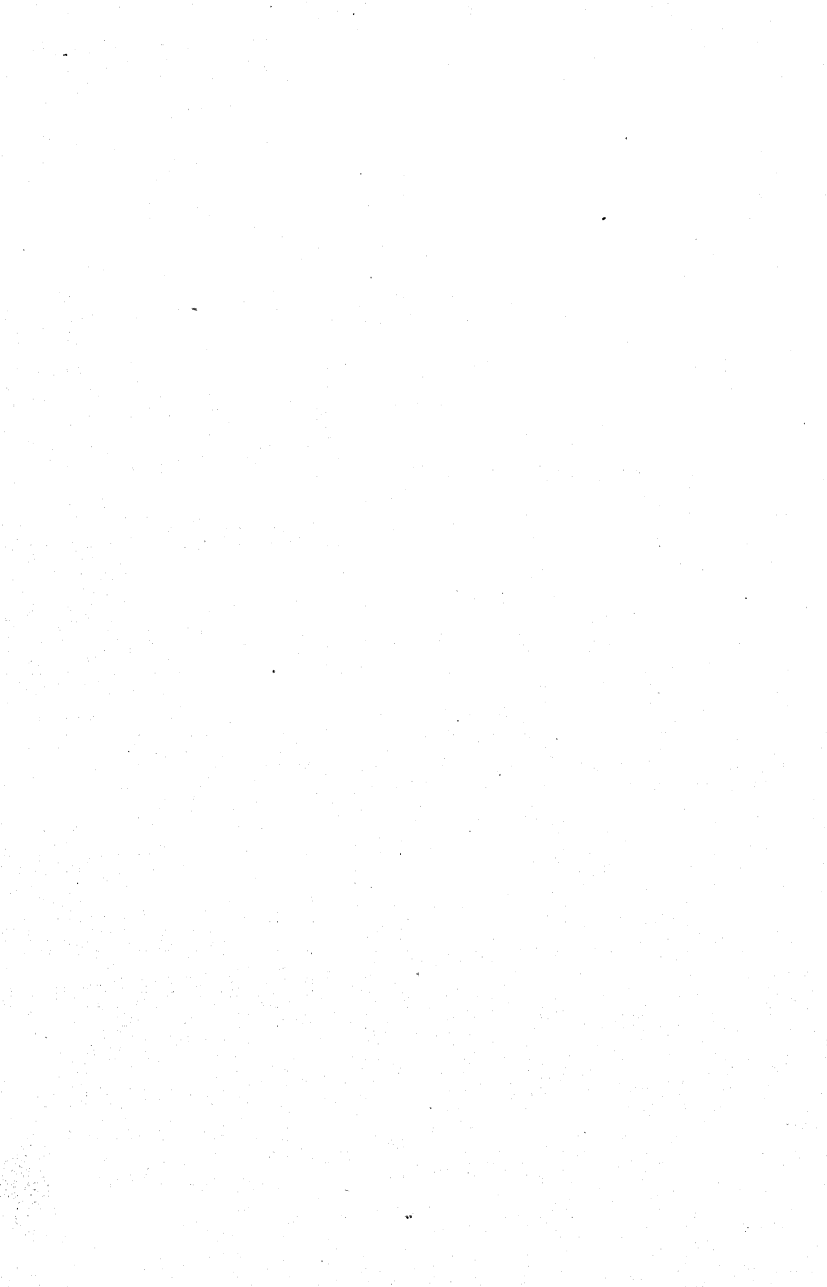
Когда он умер, все его ругают, посмеиваются. Только одна женщина рыдает — безудержно, и та сама не знает — о чем.

*23 декабря.*

Совесть как мучит!

Господи, дай силы, помоги мне.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**



<sup>1</sup> Жена поэта — Любовь Дмитриевна Блок, урожденная Менделеева. Блоки вернулись из поездки в Бретань (июль — сентябрь 1911 г.).

<sup>2</sup> Евгений Павлович Иванов, один из ближайших друзей Ал. Блока. В дальнейшем неоднократно упоминаются: его сестра — Мария Павловна, вторая сестра — Клипа, его братья — Александр и Петр Павловичи и мать — Мария Петровна.

<sup>3</sup> С. М. Городецкий, поэт, автор «Яри», друг Ал. Блока. Его воспоминания о Блоке напечатаны в «Печати и Революции», 1922 г., кн. 1. Статья, о которой говорится дальше — это, вероятно, статья С. Городецкого «Юность Блока», напечатанная в № 257 газ. «Речь» за 1911 год.

<sup>4</sup> Беллетрист Пимен Ив. Карпов, из произведений которого пользовался известностью «Пламень», книга «Из жизни и веры хлеборобов». Этому произведению Ал. Блок посвятил специальную статью, первоначально напечатанную в газ. «День» от 28 октября 1913 года и затем вошедшую в сборник его статей «Россия и интеллигенция»,

<sup>5</sup> Прислуга в доме Блоков.

<sup>6</sup> А. М. Добролюбов и Л. Д. Семенов — поэты эпохи раннего символизма. Первый из них является одним из зачинателей «новых веяний» в русской литературе. Позднее он оставил искусство и ушел в сектантство. Собрание его стихов издано в 1900 году «Скорпионом». О нем см. статью Вл. Гишпиуса в «Русской литературе XX века» под редакцией С. А. Венгерова, вып. III.

<sup>7</sup> Художник Блюменфельдт.

<sup>8</sup> Малоизвестный поэт, знакомый Ал. Блока.

<sup>9</sup> Речь идет о поэме «Возмездие», над которой в эти годы Ал. Блок работал.

<sup>10</sup> Борис Николаевич Бугаев (А н д р е й Б е л ы й), один из ближайших друзей А. Л. Блока. Его интереснейшие воспоминания об А. Л. Блоке — в журнале «Эпопея» (Берлин, 1922 — 23 гг., № 1 — 4) и более кратко — в журнале «Записки Мечтателей», 1922 г., № 6.

<sup>11</sup> «Мусагет» — издательство символистов, начавшее свою деятельность в 1910 году. Редактором его был Э. К. Метнер. Из книг А. Л. Блока в этом издательстве вышли «Ночные часы» (1911 г.), «Собрание стихотворений» кн. I — III (1911 — 1912 гг.), «Театр» (1916 г.) и «Стихотворения» кн. I — III (1916 г.).

<sup>12</sup> Так в интеллигентских кругах того времени пронически именовали крушение царского поезда на станции Борки.

<sup>13</sup> Геся Гельфман, террористка, участница казни Александра II.

<sup>14</sup> Н. В. Дризен — театральная цензор и директор Старинного театра. На его «среды» собиралось много писателей и артистов.

<sup>15</sup> В. и Л. Дюковы, знакомые семьи Ивановых.

<sup>16</sup> Поэт-символист, друг А. Л. Блока. См. его «Воспоминания о Блоке» («Атеней», Пб., 1923 г.).

<sup>17</sup> Е. Ю. Кузьмина-Караваева, портресса.

<sup>18</sup> Первая жена писателя Алексея Н. Толстого.

<sup>19</sup> Профессора Французского Института в Петербурге.

<sup>20</sup> «История революционных движений в России». А. Л. Блок ценит эту книгу. Чтение ее связано, очевидно, с подготовкой материалов для «Возмездия».

<sup>21</sup> Писательница Поликсена Сергеевна Соловьева.

<sup>22</sup> Е. Г. Соловьева, известный педагог.

<sup>23</sup> Ал-др Вас. Гиппиус, один из ближайших личных друзей А. Л. Блока.

<sup>24</sup> В данном случае, как и в дальнейшем, речь идет, конечно, об Александре Добролюбове. Упоминаемая ниже Маша Добролюбова — его сестра.

<sup>25</sup> С. В. Панченко, композитор.

<sup>26</sup> «Годы скорби». Эти чтения также связаны с работой над «Возмездием».

<sup>27</sup> Никакого «приложения» в тетради дневника не имеется, и потому решить вопрос, о каком фельетоне идет речь, не представляется возможным.

<sup>28</sup> Так называлось литературное общество, позднее превратившееся в «Общество ревнителей художественного слова», задачей



которого являлась разработка теоретических вопросов искусства и, в первую очередь, поэзии.

<sup>29</sup> Этот же адресат и переписка с ним упоминаются в дальнейшем на стр. 34 (дважды), 41, 42, 43 («милая девушка»), 70, 71, 73, 75 (дважды), 76, 77 (дважды), 91, 92, 93 (трижды), 114, 140, 163, 189, 192, 193 и 213.

<sup>30</sup> Александра Павловна Верховская, жена поэта Ю. Н. Верховского.

<sup>31</sup> Известная в то время танцовщица-босоножка.

<sup>32</sup> В этой заметке подробно излагается история покушения на самоубийство поэта Сергея Соловьева, друга Ал. Блока.

<sup>33</sup> Заведывающий издательством «Мусaget».

<sup>34</sup> С. Колпакова, няня Ал. Блока.

<sup>35</sup> Н. Н. Фидлер, литератор и владелец замечательной коллекции историко-литературных материалов.

<sup>36</sup> Сестра Ал. Блока от второго брака его отца.

<sup>37</sup> Книжный магазин на Литейном проспекте.

<sup>38</sup> Поэтесса, сотрудница изданий символистов.

<sup>39</sup> Жена писателя А. М. Ремизова.

<sup>40</sup> См. примеч. 17.

<sup>41</sup> Л. Д. Зиновьева-Аннибал, покойная жена Вяч. Иванова.

<sup>42</sup> Друг дома Бекетовых.

<sup>43</sup> Немецкий поэт и переводчик на немецкий язык многих русских поэтов.

<sup>44</sup> Имеются в виду так. наз. акмеисты, во главе которых в те годы стояли Н. Гумилев и С. Городецкий. Их статьи - манифесты посвященные акмеизму, были напечатаны в журн. «Аполлон», 1913 г., кн. 1.

<sup>45</sup> Мария Андреевна Бекетова, известный биограф Ал. Блока.

<sup>46</sup> П. Дейссен. Веданта и Платон в свете кантовой философии, М., 1911 г.

<sup>47</sup> Поэт, ученик Н. Гумилева.

<sup>48</sup> «Поэма в ногах». Отдельным изданием она выпущена «Алконостом» в 1922 году.

<sup>49</sup> В. Н. Княжнин (Ивойлов), историк литературы.

<sup>50</sup> Актриса, друг Л. Д. Блок.

<sup>51</sup> Имеется в виду, очевидно, лекция Вл. Гипплуса «Пушкин и христианство», вышедшая отдельной книгой в 1915 году.

<sup>52</sup> Друг семьи Бекетовых, известный библиотеквед.

<sup>53</sup> Ал. Блок любил отдыхать за наклеиванием в особые альбомы и тетради понравившихся ему снимков с картин и фотографий.

<sup>54</sup> Речь идет, конечно, о поэме «Возмездие». Судя по срокам, под «новой переделкой» понимается третья редакция III-й главы и отрывки из I и II глав.

<sup>55</sup> Без ведома Ал. Блока его имя было поставлено на афише в качестве участника концерта.

<sup>56</sup> Н. Н. Бекетов, академик, известный химик.

<sup>57</sup> Софья Григорьевна Карелина.

<sup>58</sup> Высшие женские бестужевские курсы, в организации которых Бекетовы принимали самое горячее участие.

<sup>59</sup> Покойный теоретик литературы.

<sup>60</sup> Е. Спекторский, Ал. Львов. Блок, государствовед и философ. Варшава, 1911 г.

<sup>61</sup> О. К. Соколова передала Ал. Блоку свои воспоминания с просьбой просмотреть их и оказать содействие по их опубликованию. Эти воспоминания очень заинтересовали Ал. Блока, но, несмотря на все его старания, напечатать их не удалось.

<sup>62</sup> Эти сокращения принадлежат самому Ал. Блоку. Смысл слов малопонятен.

<sup>63</sup> Речь идет о романе Л. Андреева «Сашка Жегулев», первоначально напечатанном в альманахе «Шиповник», кн. XVI. Далее в дневнике говорится о рассказе А. Ремизова «Петушок», напечатанном в той же книге «Шиповника».

<sup>64</sup> Франц Федикович Кублицкий-Пиоттух, второй муж матери Ал. Блока.

<sup>65</sup> Писательница Ел. Гуро, выступавшая вместе с первыми футуристами.

<sup>66</sup> Представитель и корреспондент «Русского Слова» в Петербурге.

<sup>67</sup> В. С. Миролюбов, редактор известного «Журнала Для Всех».

<sup>68</sup> Имеется в виду С. А. Соколов, редактор издательства «Гриф».

<sup>69</sup> Имена семьи Рачинских.

<sup>70</sup> Имеется в виду Всероссийский Съезд Художников, состоявшийся в Петербурге в конце 1911 — начале 1912 гг.

<sup>71</sup> Ал. Блок говорит, вероятно, о статье Д. С. Мережковского — «Чего пожелать русским писателям в 1912 году», напечатанной в газ. «Речь», 1912 г., № 1.

<sup>72</sup> Н. П. Ге, литератор; Настасия Петровна — его сестра.

<sup>73</sup> Именье С. Гр. Карелиной.

<sup>74</sup> Софья Андреевна, жена Ал. Фел. Кублицкого-Пиоттух.

<sup>75</sup> 9-ая годовщина смерти М. С. и О. М. Соловьевых, родителей поэта Сергея Соловьева. Эта семья была чрезвычайно дорога Ал. Блоку

<sup>76</sup> Сборник статей Д. Философова.

<sup>77</sup> Конечно, к воспоминаниям О. К. Соколовой.

<sup>78</sup> «Образы Италии», т. I.

<sup>79</sup> Речь идет о специальном журнале символической школы, который под названием «Труды и Дни» и начал, действительно, выходить с февраля 1912 года. В № 1, в заметке «От редакции» задачи второго отдела журнала, который Ал. Блок считал для себя «доступнее всего», сформулированы следующим образом: «Задачу второго, общего отдела составляет подбор материала, служащего координации разрозненных стремлений искусства, научной мысли и религиозного сознания, и определение точки пересечения этих стремлений в идеале истинной культуры, как органической целостности мирозердания и жизнетворчества, — культуры, как осуществленного синтеза».

Из статей Ал. Блока в «Трудах и Днях» была напечатана только одна — «От Ибсена к Стриндбергу» (1912 г, № 2).

<sup>80</sup> Секретарь журнала «Аполлон».

<sup>81</sup> Популярный в те годы в интеллигентских кругах священник, член религ.-философск. общества.

<sup>82</sup> Елена Валериановна Никольская, двоюродная сестра бабушки Ал. Блока — Е. Г. Бекетовой, урожденной Карелиной.

<sup>83</sup> Доктор, постоянно лечивший Александру Андреевну, мать Ал. Блока.

<sup>84</sup> Сестра проф. Латкина.

<sup>85</sup> «Огненный ангел».

<sup>86</sup> Известный, очень ценимый Ал. Блоком артист Александринского театра.

<sup>87</sup> Речь идет о фельетоне «О современности», напечатанном в «Русск. Слове» от 2 и 3 марта 1912 года.

<sup>88</sup> На этом чествовании Бальмонта Ал. Блок, действительно, не был, сказавшись больным.

<sup>89</sup> Известная поборница женского образования, давний друг семьи Бекетовых.

<sup>90</sup> Имеется в виду вторая жена А. М. Блока — Мария Тимофеевна, урожденная Беляева.

<sup>91</sup> Сборник «Зеркало теней», вышедший в 1912 году в издании «Скорпиона».

<sup>92</sup> В распоряжении Общества трезвости находился тогда Народный Дом на Петерб. стороне.

<sup>93</sup> Так началось произведение, которое стало впоследствии драмой «Роза и Крест». Историю написания ее см. в нашей книге «Драмы и поэмы Ал. Блока. Из истории их создания».

<sup>94</sup> «Горная тропа. 2-я книга стихов». Изд. «Скорпион», М. 1912 г.

<sup>95</sup> Памятник Петру I на Сенатской площади.

<sup>96</sup> У Мережковских при возвращении их из-за границы был произведен обыск и отобраны рукописи и книги.

<sup>97</sup> Известный художник, утонувший в ночь на 15 июня 1912 года. Об этом Ал. Блок упоминает ниже — в записях от 15 и 16 июня.

<sup>98</sup> В № 1 «Трудов и Дней» были напечатаны следующие статьи, о которых говорит Ал. Блок в письме к Андрею Белому: Вяч. Иванова — «Мысли о символизме», Андрея Белого — «Символизм» Эмилия Метнера — «Мусагет» и Вл. Пяста — «Нечто о каноне».

<sup>99</sup> Феликс Адамов. Кублицкий-Пиоттух, двоюродный брат Ал. Блока и друг его детских лет.

<sup>100</sup> Беллетрист и поэт.

<sup>101</sup> Е. А. Лядский, автор работы о Гончарове, редактор журнала «Современник».

<sup>102</sup> Артист, служивший в то время вместе с Л. Д. Блок и упоминаемой ниже Чекан в Тернопольском театре.

<sup>103</sup> Сестра Э. Н. Гицпиус, художница. В 1906 году она нарисовала интересный портрет Ал. Блока.

<sup>104</sup> Т. е. о Штейнере.

<sup>105</sup> Именьице бекетовской семьи в Московской губ.

<sup>106</sup> Ал. Блоком была составлена библиография Грибоедова, переданная им С. А. Венгеру и у последнего затерявшаяся. Статья же о Грибоедове и его творчестве осталась ненаписанной.

<sup>107</sup> Ближайшая к Шахматову железнодорожная и почтовая станция.

<sup>108</sup> Конечно, драмы «Роза и Крест».

<sup>109</sup> Л. Д. Блок выступала в пантомиме Вс. Мейерхольда «Влюбленные» и в интермедии Сервантеса «Два болтуна».

<sup>110</sup> О. Э. Мандельштам, поэт, в те годы начинавший свою литературную деятельность.

- 111 «Как важно быть серьезным».
- 112 А. А. Голубев, артист.
- 113 I, II и V строфы из стихотворения Ин. Анненского «Дальние руки» («Кипарисовый ларец», изд. I, стр. 74).
- 114 В. Г. Каратыгин, известный теоретик и музыкальный критик.
- 115 М. Д. Менделеева, сестра Любови Дмитриевны.
- 116 Вас. Дм. Менделеев, изобретатель, брат Л. Д. Блок.
- 117 С. С. Кондурушкин, беллетрист и фельетонист «Речи».
- 118 Существовавший в то время литературно-артистический кабачок.
- 119 Поэт и критик.
- 120 Одна из литературных поклонниц Ал. Блока.
- 121 Имеются в виду фетовские переводы Катулла и Тибулла.
- 122 Две первых строки стихотворения «Аттис». Перевод А. Фета:  
Аттис, моря глубь прослав на проворном корабле,  
Лишь достигнул до Фригийской рощи быстрою стопой...  
(«Стихотворения Катулла», изд. 1886 г., стр. 69).
- 123 Известный театр Баллева. В письме Ал. Блока просили написать что-либо для этого театра.
- 124 Этот замысел остался неосуществленным. Вечер, посвященный памяти Судейкина, не состоялся.
- 125 «Ежемесячник стихов и критики», руководимый группой акменстов, выходивший в 1912 — 13 гг.
- 126 Известный композитор.
- 127 Близкий к литературной среде очень оригинальный человек, интересовавшийся Ал. Блока.
- 128 Режиссер и теоретик театра.
- 129 Будущее издательство «Сирин».
- 130 Художник.
- 131 Режиссер, брат В. Ф. Коммиссаржевской.
- 132 Н. Санжарь, писательница.
- 133 Цирковые номера, нравившиеся Ал. Блоку.
- 134 Друг Ал. Блока, поэт и переводчик. Его воспоминания о Блоке напечатаны в «Записках Мечтателей», 1922 г., № 6.
- 135 Племянница Владимира Соловьева.
- 136 С. А. Адрианов, профессор и критик «Вестника Европы».
- 137 Детали драмы «Роза и Крест».
- 138 Племянница Фр. Фел. Кублицкого-Пюоттух.
- 139 Драма «Заложники жизни».

- 140 Тот, у которого «интеллигентская совесть» и которому посвящен весь этот абзац.
- 141 Режиссер и теоретик «Театра для себя».
- 142 Артист театра В. Ф. Коммиссаржевской.
- 143 А. Скалдин, беллетрист.
- 144 «Нежная тайна. Лента». Изд. «Оры», 1912 г.
- 145 Зарисовка занавеса Тернокского театра, автором которого был также Н. И. Кульбин.
- 146 Вечер не состоялся.
- 147, «Русская Молва».
- 148 Поэт.
- 149 Эта «докладная записка» превратилась в статью, напечатанную в № 1 «Русской Молвы».
- 150 Известная переводчица, сестра жены Ф. К. Сологуба.
- 151 Поэт, печатавшийся в журналах «нового направления».
- 152 Журналист Вильямс, написавший книгу о России.
- 153 Сестры М. И. Терещенко — Пелагея и Елизавета Ивановны,
- 154 Режиссер, руководитель «Нашего Театра».
- 155 Теоретик театра и критик, издательница реорганизованного «Северного Вестника».
- 156 Н. Н. Волохова, актриса театра В. Ф. Коммиссаржевской, которой Ал. Блоком посвящена «Снежная маска».
- 157 Т. е. к редакционному собранию «Русской Молвы».
- 158 «Искусство и Газета». См. примеч. 149.
- 159 Т. е. отказы от приглашений сотрудничать в различных изданиях.
- 160 «Есть минуты, когда не тревожит»...
- 161 «Тишина в лесу».
- 162 Роман Зин. Гиппиус.
- 163 На статью Д. Философова Ал. Блок ответил статьей — «Непонимание или нежелание понять (Ответ на статью Философова «Уединенный эстетизм»)», напечатанной в № 15 «Русской Молвы».
- 164 «Возмездие», гл. I и III.
- 165 Один из служащих редакции «Сирена».
- 166 Трагедия «Петр и Алексей» («Peter und Alexey»).
- 167 Сборник стихов «Девять сонетов и один эпилог» («Neuen Sonette und ein Epilog»).
- 168 Друг А. М. Ремизова, любитель и знаток старины.
- 169 Старинный друг семьи Бекетовых,

- 170 Эта постановка не состоялась.
- 171 В пьесе Д. Мережковского «Павел I».
- 172 Одна из литературных поклонниц Ал. Блока.
- 173 Лозинская. См. примеч. 138.
- 174 Композитор, писавший музыку к «Финикиянкам» Эврипида.
- 175 Литератор, редактор «Северных Записок».
- 176 С. А. Вастен и О. Н. Федорович — подруги М. А. Бекетовой.
- 177 Предполагаемый кружок художественной культуры осуществления не получил.
- 178 Актриса театра Незлобина.
- 179 Это издание вышло только в 1916 году в «Мусагете».
- 180 Ксен. Мих. Садовская, раннее увлечение Ал. Блока. Об этом «романе» — М. А. Бекетова «А. А. Блок, биографический очерк», стр. 55 — 57.
- 181 Двоюродная сестра Ал. Блока.
- 182 Критик, позднее — профессор Гельсингфорского университета
- 183 Жена проф. Ростовцева.
- 184 Именье С. А. Кублицкой-Пиоттух.
- 185 Так Ал. Блок называл одно из философских построений Е. П. Иванова.
- 186 Эта запись непосредственно связана с замыслом пьесы о «человеке, власть имеющем».
- 187 «Уединенный домик на Васильевском».
- 188 «Возмездие», гл. I.
- 189 Покупка брошюр Л. Толстого у букиниста на Зелениной ул.
- 190 Ответ Ал. Блока на это письмо, датированный 25 февр. 1913 г., напечатан в качестве приложения к брошюровке А. Цинговатова «Муза Блока» (Иваново-Вознесенск, 1922 г.).
- 191 Московский филолог.
- 192 В этом письме о представлении «Кармозины» Ал. Блок писал следующее: «Вчера мы все были на Кармозине и, представь себе, многое было недурно. Очень плохи мужчины, а дамы — лучше. Кармозину играла Дымшиц, и некоторые фразы говорила совсем хорошо. Она совсем не похожа на жидовку, молоденькая, со слабым голосом, конечно, не без подражания Коммиссаржевской, с неуверенными жестами. В декорациях, очень простых и дешевых, есть своеобразный вкус. В труппе, как в самом Занове, пленяет отсутствие пошлости (кроме некоторых актеров). Видно, что они

работают и о себе много не думают. Публики было немного, но успех был настоящий, тетка довольна!»

<sup>193</sup> Стагья Д. Мережковского «О черных колодцах» («Русское Слово» от 12 марта 1913 года).

<sup>194</sup> В февральском номере «Северных Записок» за 1913 год помещено стих. Ал. Блока «Унижение» (В черных сучьях дерев обнаженных...).

Первая строка седьмой строфы напечатана так:

«В теплом, зимнем, огромном закате»...

Нужно же: не «в теплом», а «в желтом». Это, очевидно, и есть «ужасная опечатка».

<sup>195</sup> Ю. М. Бонди, художник.

<sup>196</sup> Композитор.

<sup>197</sup> В. Н. Королева, актриса.

<sup>198</sup> Квартира М. И. Терещенко,

<sup>199</sup> Чтение это состоялось в актовом зале VI гимназии.

<sup>200</sup> В. Н. Всеволодский-Гернгросс, историк театра.

<sup>201</sup> Балет Ал. Ремизова.

<sup>202</sup> Жена В. Розанова.

<sup>203</sup> Эта автобиография вошла в собрание сочинений под названием — «Записки Бертрана, написанные им за несколько часов до смерти» (Собр. соч., изд. «Эпохи», т. IX, стр. 99 — 108).

<sup>204</sup> Юрг. Каз. Балтрушайтис, поэт-символист.

<sup>205</sup> Друг детства Ал. Блока.

<sup>206</sup> Имеются в виду письма, вклеенные в дневник и затем сожженные.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

	Стр.
О дневниках Ал. Блока. <i>Павел Медведев</i> . . . . .	7
Дневник 1911 года . . . . .	17
Дневник 1912 года . . . . .	69
Дневник 1913 года . . . . .	161
Примечания . . . . .	217

---